

Евгений Плимак

НА ВОЙНЕ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ



ЗАПИСКИ ВЕТЕРАНА

Евгений Плимак

НА ВОЙНЕ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Записки ветерана



ВЕСЬ
МИР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2005

УДК 929.82-94
ББК 63
П 38

Книга публикуется в авторской редакции.

Плимак Е.Г.

П 38 **На войне и после войны (Записки ветерана).** — М.: Издательство «Весь Мир», 2005. — 200 с.

ISBN 5-7777-0325-9

Мемуары известного историка содержат откровенное повествование о фронтовой молодости, а также перипетиях неравной борьбы со сталинизмом и неосталинизмом в советской науке в 40—80-е годы XX века, активным участником которой ему довелось быть. Многие аспекты этой борьбы освещаются впервые. В книгу вошли также яркие воспоминания автора, воевавшего в пехоте и в разведке 1-й Гв. танковой армии Катюкова. Особый интерес представляет доверительный и глубоко личный рассказ о службе в Советской военной администрации в Германии (СВАГ), об отношениях с союзниками и немцами. Составной частью книги является поэтическое эссе, отражающее многолетнее увлечение автора поэзией.

УДК 929.82-94

ББК 63

Содержание

От автора	7
-----------------	---

НА ФРОНТЕ И В ПОБЕЖДЕННОЙ ГЕРМАНИИ

Моя фронтовая разведотдельская семья	9
Моя «работа» во фронтовой семье	16
Что я «могу» и что «не могу» на фронте	19
Женский вопрос в нашей семье	21
Иван Панкин и Митя Бовтрук	24
Неуценная боевая награда	27
О том, как Митя убил долговязого друга Фрица	29
Прикарпатская баня	33
Deine Lotti	34
71:0	39
Приказы выполняются в армии неукоснительно	41
Ценный совет Сан Саныча	43
Appi	44
72:1. Визит к доктору Бауэру	46
Визит на Моргенштрассе, 14	47
Мое появление в Политдиректорате Контрольного совета	49
Первое прощание	52
Немного о Политдиректорате и союзных секретарях	53
Вопрос о передаче в союзное ведение главной радиостанции Германии	57

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке	58
Визит на виллу Чейза	59
Удар ниже пояса	61
Небольшая передышка после выступления Кузнецова	62
Контрудар Николая Васильевича	64
Второе прощание	65
Несколько слов о моей жене Маше	66
О роли «случая» в моей жизни	69

С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО НА ФИЛОСОФСКИЙ ФРОНТ

Как из нас готовили волчью стаю	74
Сумбур вместо обучения	78
Отточие вместо имени знаменитого «отрицателя» Лютера	86
Чудеса в редакциях «Литературной газеты» и журнала «Партийная жизнь»	89
«Решающий удар» профессора Западава	91
Погром на философском факультете	93
О том, как я и Ю. Карякин пользовались на экзаменах «шпаргалками»	94
Определение «щипановщины» А. Галактионовым и П. Никандровым	98
Дискуссия о главе «Хотиллов» и лагерная пыль	99

РЕФЕРЕНТ У ВОЖДЯ «МЕНЬШЕВИСТВУЮЩЕГО ИДЕАЛИЗМА»

Мое первое знакомство с академиком А. М. Дебориним	107
Борьба Деборина против партийного клейма	109
Идейная традиция борьбы коммунистов и личный вклад в нее Сталина	111
Некоторые мысли о методологии изучения общественно-политических идей	115

НА ИСТОРИЧЕСКОМ И СНОВА НА ФИЛОСОФСКОМ ФРОНТЕ

Уход от философии к истории	124
Первая статья в «Новом мире» Александра Твардовского и первое избиение	127
XX съезд КПСС и историческая наука	129
Как виделись С.П. Трапезникову «крутые повороты истории»?	131
Неудавшаяся акция двух родственников	132
«Мятежный» партком Института истории АН СССР и его работа	133
Как «стряпалось» дело Некрича	137
Разгром Сектора методологии М.Я. Гефтера	139
Разгром Трапезниковым Отдела актуальных проблем исторического материализма В.Ж. Келле Института философии АН СССР	140
М.В. Нечкина против книги «Чернышевский или Нечаев?»	145
Чем я занимался в ИМРД АН СССР?	148
Некоторые результаты «реформ» Ельцина	152

ФИЛОСОФСКАЯ ДИСКУССИЯ 16—25 ИЮНЯ 1947 ГОДА

(Куда Жданов и его подручные вели нашу философию)

«Покушение» Г.Ф. Александрова на философскую монополию И.В. Сталина	157
«Разбор» книги Александрова на июньской дискуссии 1947 года	159
М.Б. Митин: «Надо основательно прочистить мозги»	160
Доклад «тов. Жданова А.А.» на Философской дискуссии июня 1947 года	163
Они первыми перешли Рубикон	168
Заключительное слово Г.Ф. Александрова	170

ЛЮБОВЬ И КУЛЬТУРА КАК ОДОЛЕНИЕ СМЕРТИ?

Поэзия — высший символ человеческого общения	172
Почему Фрейд недолюбливал поэтов?	174

Психоанализ глазами пациента	176
О недостаточности формулы Иванова—Карякина	
«Культура как одоление смерти»	178
Поэзия как боевое оружие	179
Мое страшное поэтическое состязание	181
О переводе неперевоаемых стихов	185
Борис Пастернак «обрубает» самые дорогие ему строки ...	188
«Предупреждение» Арсения Тарковского	189
Послесловие	191
Примечания	195

От автора

Сразу хочу предупредить: я не писатель, никогда не рассчитывал увидеть свое повествование в печати и, соответственно, у меня не было желания стать членом Союза писателей. С меня довольно было, что записки мои в частном порядке прочли несколько близких мне людей, добрых моих знакомых.

Но случилось так, что один из них, Игорь Виноградов, будучи редактором журнала «Континент», посчитал, что мои воспоминания могут оказаться интересны и более широкому кругу людей, и опубликовал их сокращенный текст в № 84 этого журнала за 1995 год. Я согласился, хотя и сознавал, что стиль, слог и прочие качества моего рассказа оставляют желать лучшего. Но я же предупредил, что я не писатель. Да и писалось все это прерывисто — сразу притертыми друг к другу кусками, то дома, то на каком-нибудь бульваре, а то и в электричке по дороге к своему другу. Отвечаю за одно: все рассказанное мною и в 1995 году, и сейчас в году 2005, когда исполнилось 60 лет со дня Победы, — чистая правда, какой она видится мне с расстояния более чем полувека. В отличие от публикации Виноградова я восстанавливаю сокращенные им из-за лимита объема его журнала тексты и даю не измененные, а подлинные звания и фамилии тех, о ком мне захотелось или пришлось вспомнить и рассказать. Даю я в этой книге и фотографию нашего боевого разведотдела штаба 8-го Гвардейского механизированного корпуса 1-й Гвардейской танковой армии Катукова. Моим боевым товарищам я и посвящаю эти записки.

На фронте и в побежденной Германии

Моя фронтовая разведотдельская семья

В верхнем левом — «архивном» — ящике моего письменного стола хранится фотография, которую я прислал в 1945 году своей маме из действующей армии. Надпись на оборотной стороне этой карточки кажется мне теперь диковатой, но она — вполне в духе моей юности, пришедшейся на последние два года той действительно великой войны. Ведь стороны готовились к ней долго, проявляя при этом невиданное дипломатическое коварство, изворотливость и хитрость; в ходе ее были разыграны величайшие, непревзойденные по размаху и мастерству сражения, убито на них было великое множество людей — миллионов под пятьдесят-шестьдесят, ранено еще миллионов полтораста. А сколько женщин остались без мужей, братьев, сестер и детей, потеряли кров, да к тому же еще и были изнасилованы, статистика не сообщает, даже приблизительно, здесь статистика совершенно бессильна...

Итак, надпись на обороте посланной матери фронтовой карточки гласила: *«Посылаю фотографию, где я снят среди боевых товарищей по работе. Последние полтора года вместе с ними делили радость и горе и переносили боевые невзгоды. Карточку прошу сохранить для меня».*

Мать моя, Нина Павловна Крячко, карточку сохранила.

На фотографии — пять мужчин в гимнастерках с погонами. Это моя фронтовая семья. Правда, не вся. И не первая. В первую я попал через полгода после того, как в январе 1943-го меня, семнадцатилетнего юнца, забрали из-под теплого крылышка моей мамы в холодный, выжженный городок Сенгилей, что на Волге, в пехотное училище. Там я, по приказу командования, месяца три перетаскивал с ребятами по льду



Моя фронтовая разведотдельская семья. Лето 1944 года.

бревна из-за Волги на наш берег (бревна были жизненно нужны городу в ту суровую зиму), а ночами кормил на нарах вшей. Когда я их впервые увидел, я даже не сообразил, что это такое, и удивленно спросил о них у лежавшего рядом приятеля Кольки, с которым был вместе мобилизован в городе Пенза (кстати, на фронте вшей изводили).

Так вот, три месяца я таскал бревна, привык голодать, если к этому вообще можно «привыкнуть», а вши да верхний рубец жесткого армейского ботинка изъязвили мне правую ногу, наградив единственным моим боевым рубцом (впрочем, что считать рубцом?). Потом я ровно три месяца пролежал в госпитале уже в Саратове (язвы никак не хотели заживать в сенгилейской санчасти). В госпитале справились с язвами, я немного отъелся и отлежался в чистой постели и был выписан, когда в палатах стало не хватать мест для раненых на Курской дуге. С такой вот солидной боевой выучкой и был отправлен я на фронт вместе с друзьями моими в июле 43-го, прямехонько в ад Великой Отечественной. Ехали на фронт мы по железной дороге, буквально обложенной с обеих сторон покореженными и почему-то перевернутыми днищем вверх «тридцатьчетверками». Вдохновляющее было зрелище...

Ребята, правда, в отличие от меня, подучили в Сенгилее, благо Волга разлилась весной и таскать бревна они перестали. И они уже умели ползать, кое-как стрелять, в том числе даже из миномета, но особенно хорошо — колоть штыком. Этому учили и в Сенгилее, и потом в Саратове, хотя я сроду не видел на фронте винтовок со штыками. По приезде на фронт я попал в Минбатарю 120 мм — благодаря своему росту, 176 см. Перед отправкой на передовую нас построили на какой-то поляне и поделили пополам: более рослых — в минометчики, чуть подалее от передовой; менее рослых — в пехоту, сразу под пули. Через две-три недели боев оставшихся в живых минометчиков, бойцов взвода охраны полка, да и кое-кого из писарей снова выстроили на какой-то поляне и снова поделили — кому на прежнее место, кому — сразу под пули; пехоту к этому времени у нас в полку почти всю повыбило, потери надо было восполнить...

Минбатаря 120 мм, где я дорос до должности командира миномета (он же и наводчик), стала первой моей боевой семьей. Но о минометной работе вроде все и так правдиво рассказал Окуджава в повестушке «Будь здоров, школяр», что мне не стоит повторяться; а эти записки о той поре моей юности, которая прошла в разведотделе славного 8-го Гвардейского Прикарпатского, Лодзинского, Берлинского и прочая и прочая мехкорпуса 1-й Гвардейской танковой армии. Членом моей второй фронтовой семьи я стал, благодаря мало-мальскому знанию немецкого языка.

Пятеро мужчин в гимнастерках, запечатленных на фотографии, которую я послал маме, а ныне вот публикую, и были второй моей боевой семьей, вернее — ее главной частью.

Представляю: трое, офицеры-разведчики, — это наше начальство. Они сидят на стульях в первом ряду. Двое — старшины, стоят за ними. Это я и второй наш, а точнее первый разведотдельский военпереводчик 1-го разряда Александр Александрович Фишер, он же Сан Саныч. Он на карточке получился почему-то ниже меня ростом, хотя на самом деле был мужчина видный, солидный, убеленный сединой, повыше меня. Когда у нас с ним в 45-м появились после очередной реквизиции черные бархатные погоны с золотой поперечной буквой «Т», все пленные, как один, принимали пожилого Сан Саныча за генерала и вытягивались перед ним в струнку. Соперничать с ним по части владения немецким языком у меня вообще не было шансов — Сан Саныч происходил из чистокровных немцев, хотя, впрочем, был вполне советским человеком и отважным бойцом, награжденным двумя военными орденами.

Но рассказывать надо все же как-то по воинскому регламенту, и потому начну рассказ заново — с главы семьи.

Он сидит в центре, как ему положено по чину и должности. Это начальник разведотдела 8-го Гвардейского мехкорпуса 1-й Гв. танковой армии подполковник Андряко. Ему под сорок, он сухопар, строг и явно позирует. Взгляд у него — чуть надменный и какой-то хищноватый, одновременно на добычу устремленный и зорко следящий за тем, что делается по сторонам. Такой взгляд я видел однажды, уже после войны, в Москве на трамвайной остановке у карманника, который облюбовывал очередную свою жертву, и мне сразу вспомнился Андряко. Он и был в молодости беспризорником, потом детдомовцем, потом курсантом училища, потом кадровым офицером, но ухватки своей с трудом обузданной юности сохранил до времен войны и в разведку попал не даром. Дерзкий, нагловатый, но всегда расчетливый, он выполнял во время прорывов нашей танковой армии всегда какие-то важные задания. Что они были важны — спору нет. Но мне вот почему-то казалось, что Андряко не любил во время операций оставаться в штабе корпуса вблизи начштаба полковника Воронченко — тот мог в любой момент дать ему какое-то сверхважное непредвиденное и опасное задание. А душе нашего Андряко требовалось не просто выполнять какие-то опасные и важные задания, но и погулять на фронтовой вольной воле. И эту волю он себе давал, бросая наш боевой разведотдельский бронетранспортер от бригады к бригаде, никогда не зарываясь слишком далеко вперед и в нужный момент быстро покидая то место, где становилось чересчур жарко, — танковой разведке не обязательно лезть в самое пекло...

Во время постоянных разъездов Андряко по бригадам руководить разведкой в штабе корпуса оставался майор Глыбовский, замначразведотдела, — собственно для руководства разведкой корпуса и Сан Саныч — для обработки доставляемых в штаб пленных. Меня же Андряко всегда забирал с собой — ему требовался еще и личный переводчик. Хотя, впрочем, допросить пленного вблизи передовой, в бригаде, или отправить меня в небольшую рекогносцировку в несколько неясной ситуации было порой действительно полезно — и для Андряко, и для дела.

Заместитель начальника разведотдела — майор Глыбовский — сидит рядом с шефом справа. Взгляд у майора с хитроватым прищуром, на губах застыла ухмылочка — он прекрасно знает цену и себе, и всем нам, знает, что на нем-то, бывшем главбухе крупного иркутского завода, и держится в корпусе вся разведдеятельность. Держится прочно, ибо майор как-то нутром угадывает замыслы противника, в боях может быстро — по показаниям случайных пленных и по обрывкам скупых донесений — склеить для Начштаба почти всегда точную карту распо-

ложения сил во вражеском стане. Соображает он мгновенно и не теряется в любой обстановке. В штабе он думает «за противника» — предугадывает, в какой бок и когда тот соберется бить, а удары в бок нашей наступающей 1-й Гв. танковой армии, особенно когда бьет какая-нибудь танковая дивизия СС (а то и две-три) — вещь смертельно опасная. Тут не помогут слабые фланговые заслоны нашего разведбата. Тут надо срочно заворачивать — срочно! — навстречу противнику, ударившему во фланг, весь наш мехкорпус, а то и еще два танковых в придачу. Иначе и 1-й Гв. танковой — хана, и на фронте — дыра...

Слева от Андреяко капитан Назаров — офицер разведотдела по особым поручениям, у него на груди орденов больше, чем у всех. Он тоже вечно мотается на своем броневишке по бригадам, передовым отрядам, нашим заслонам, разыскивает куда-то запропастившихся «соседей». Но уже ничего не предпринимает по собственной воле, следуя исключительно воле и приказам Начштаба. Вечно попадает в переплеты, из которых выкручивается целым и невредимым. Один раз — это было зимой то ли в Польше, то ли в Германии уже — он въехал лунной ночью в расположение крупной немецкой танковой части, остановившейся в селе, миновал это село, объезжая танки, бронетранспортеры, покуривающих фрицев, — никому из них в голову не пришло, что объезжает загородившие дорогу боевые машины русский броневишок и что торчит в его башенке в немецком Маскхалате не какой-нибудь хауптман Зомбарт, а капитан Назаров. А в Прикарпатье капитан привел в расположение одной из наших танковых бригад целую роту (если не батальон) противника. Все на том же броневишке он въехал во вражеский строй на повороте горной дороги — въехал, остановил машину и, поскольку выхода у него не было решительно никакого, он властным жестом приказал противнику сдаваться и следовать за ним... О, эта вечная игра разведчика со смертью! На счастье Назарова противником оказались не немцы, а венгры, не очень желавшие сражаться с нами даже на подступах к их собственной стране; они ему запросто сдались.

А вот во время боев в Померании в 1945-м, когда прямо на деревню, в которой разместился наш штаб, вышла никому не известная и даже не обозначенная на карте Глыбовского танковая колонна, отсутствие в штабе Назарова чуть не погубило Глыбовского. Начальнику штаба Воронченко пришлось, естественно, послать для уяснения состава колонны и ее намерений бывшего у него под рукой майора. Тот выехал навстречу неизвестности, восседая на башне Т-34 (из отряда сопровождения штаба), чтобы лучше видеть. А темнота была уже густая-прегустая, ровно ничегошеньки не было видно впереди. И ровно через пять минут «тридцатьчетверка» получила снаряд в брюхо — шедшая во гла-

ве немецкой колонны «пантера» была прямой наводкой. Экипаж Т-34, как было принято тогда говорить, героически погиб в бою, а восседавшего на его башне майора ласково так сбросило взрывной волной в придорожный кювет, по которому он, чуть оглушенный взрывом, на четвереньках и добрался до деревни, где уже не было нашего штаба. Штаб всегда оперативно — в этом отношении Воронченко не уступал Андреяко — убирался восвояси из горячих мест. На счастье Глыбовского — а везло ему тоже фантастически — в деревне задержался один наш мотоциклист, у бойца разведбата барахлил мотор. К моменту прибытия майора в деревню мотор снова заработал и боец вместе с майором пульей вылетели из деревни — под градом немецких пуль.

Конечно, капитану Назарову до майора Глыбовского было все-таки так же далеко, как мне до Сан Саныча. Но разведчиком он был смелым, а главное, инициативным; инициатива же в разведке, будь то малая операция или большая, фронтовая или тыловая, — вещь наипервейшая. Именно благодаря инициативе капитана Назарова наш разведотдел был обеспечен несколькими ящиками великолепнейшего французского шампанского под Львовым, и, хотя оно было по букету явно грабленное — поначалу немцами у французов, потом нами — у немцев, я в жизни не пил ничего подобного. А перед броском на Берлин, когда мы на несколько недель застряли в одной польской деревушке — формировка была на сей раз фундаментальнейшая, — капитан Назаров, канув куда-то в неизвестность и пропав на три дня, вернулся все же обратно и торжественно извлек из своего броневишка, к нашему общему изумлению и восхищению, три кипы великолепнейших черных суконных танковых немецких штанов с кожаной накладкой там, где у танкиста задница. Эти комбинированные штаны были тут же расхvatаны обносившимися за годы войны деревенскими жителями, обеспечив нашему разведотделу — на зависть всем прочим отделам штаба, и даже оперативному — польский самогон на все время формирования. Признаюсь: зверское было зелье. Нарушив меру, поначалу не привыкший к дьявольскому зелью наш разведотдел в полном составе оказывался пару раз у ближайшего забора — без этой опоры мы просто не могли устоять на ногах, освобождая организм от отравы. Но все же это было славное зелье, здорово помогавшее нам в эти дни разрядки «делить радость и горе».

Стоим за спиной офицеров-разведчиков мы с Сан Санычем, оба старшины и военпереводчики 1-го разряда. А это в разведке уже совсем другой, низший класс, хотя все грани, как известно, в природе подвижны и порою в боях грани между нами стирались. Вообще-то чинами мы были обижены — по должности нам полагалось быть капитанами.

Но офицерского звания Сан Санычу не присваивали, несмотря на бесчисленные представления весьма ценившего его Воронченко, и хотя заработал он к тому же в боях пару орденов и вообще был гражданин вполне советский. Но Фишер все же был немец, и те, что в СМЕРШе или где еще там, ему не доверяли, ведь это был немец, воевавший против немцев. И не знали они, видимо, того, что знали мы в разведотделе: в боевых делах на Сан Саныча можно было положиться без всяких колебаний и даже больше, чем на самих себя... И в любой ситуации он пришел бы на помощь.

Ну а я выбился в переводчики, не имея на то никаких прав и никакого специального военно-переводческого образования. Да и к чему они, когда есть кое-какие знания, немного везения да еще способность к языкам? В истории этой сыграло свою роль мое юношеское пристрастие к немецкому поэту Генриху Гейне, моя должность полкового почтальона в стрелковом полку зимой 43/44-го — комбат минбатарей выпроводил меня в штаб 973-го стрелкового полка из-за того, что я — единственный из всех командиров миномета — не умел обращаться с лошадьми (а мало ли что могло случиться с ездовым в боях?), и, наконец, мое знакомство с полковым писарем Ваней. Как-то ночью мы лежали с ним на нарах в штабной землянке, говорили «за жизнь», и он-то посоветовал мне подать рапорт по инстанциям по поводу пропадающего у меня переводческого таланта. И сыграла в этой истории особую роль женщина (они всегда играли в моей жизни особенную роль), старший лейтенант из разведотдела штаба нашей стрелковой армии. Ей-то и приказали проверить мои познания в немецком военном переводе, и я ей на чистом русском языке откровенно признался, что таковых не имею, но жажду приобрести. После этого признания, посмотрев как-то странно на мой потрепанный, далеко не бравый солдатский вид (я довольно-таки пообносился на передовой) девушка вышла в соседнюю комнату, к своему начальству, и сказала начальнику разведки армии, что я вполне подойду для службы в штабе полка. Затем из полковой разведки 975 СП 270 СД меня перетащил в корпусную разведку — причем танковых войск! — служивший в военно-врачебной комиссии 1-й Гв. танковой армии мой отец майор, военврач Плимак Григорий Ионович (в то время кому-то в голову пришла дикая идея — создавать в Советской армии фронтовые семьи!).

Впрочем, мне не след особенно прибедняться и, главное, выставлять в сомнительном виде хорошенькую девушку, старшего лейтенанта. Я все же имел, о чем я ей сказал, некое языковое образование — окончил все четыре курса заочных курсов «Ин-яз», что в Москве, из них два последних — в госпитале в Саратове. Правда, на курсах «Ин-яза» не учили

немецкой разговорной речи, военному переводу также, — курсы так и не «перестроились» во время войны в отличие от всей страны. Но в 975 СП я у одного из политработников достал, вернее сказать «умыкнул» и проштудировал пособие по военному переводу, разговорной речью овладевал в боевых операциях (на допросах пленных), хотя, признаюсь, владею разговорным немецким плоховато. Но, думаю, девушку — старшего лейтенанта — я не подвел, как не подвел моего отца — ему я обязан бесконечно многим: перевод в танковые части с огромным повышением в должности в общем-то спас мне, юнцу почти без всякого образования (9 классов средней школы), жизнь во время Великой Отечественной, хотя я вам прямо скажу, что разведотдел мехкорпуса далеко не курорт, умереть здесь можно было как раз в солнечную погоду под бомбовыми ударами Ю-87, да и в операциях на самом фронте. Но я вот выжил, здесь это было уже проще, чем в стрелковом полку...

Моя «работа» во фронтовой семье

Отойдя уже не на двадцать пять, когда начал я писать свой рассказ, а на шестьдесят лет от времен моей фронтовой молодости и готова записки для печати, я, перечитав текст предыдущей главки, написанной давно, понял, что ничуть не подыграл тогдашней иронической моде в своем рассказе о фронтовой семье. Моя фраза о «боевых товарищах по работе», написанная на обороте нашей фронтовой фотографии, посланной покойной моей маме, была, конечно, диковатой, но по сути дела она была точна, совершенно точна! Фронтовая разведотдельская жизнь — это работа, работа и работа, работа при любых стрессах и сверхстрессах и в любых ситуациях. Сработаешь плохо — расплатишься кровью своей и своих товарищей. Хорошо — и себя спасешь, и товарищей. Хотя всякое, конечно, бывало. 60 лет спустя после некоторых пережитых мною в юности эпизодов такой работы я и сегодня могу совершенно точно воспроизвести их: слова и действия всех участников, до мельчайших деталей, врезались в мою память навсегда...

Январь 45-го, плацдарм на Висле. Первая гвардейская танковая вползла в приготовленную для нее пехотой узкую щель и рванула вперед, начав — вместе с соседями своими, естественно, — свой отчаянный бросок к Берлину, приблизивший конец войны. За два дня преодолеваем сотню-другую километров, просто объезжая стороной укрепленные районы противника — для ускорения марша. Нет всегда умело сдерживавших наши танки «мессеров» — они захвачены на прифронтовых аэродромах — оказывается, как и наши И-15 в 41-м, стояли без горю-

чего в баках. Но то и дело лежим под РСами своих же «Илов» — они, черти, совершенно запутались там, «наверху», не разбирают, где на дорогах «свои», где «чужие», и не помогают их ориентировке никакие запускаемые нами для опознания красные ракеты... Андреяко уже не до поездок в бригады — все они слоями, как в торте, перемешаны с немецкими отступающими колоннами; все это движется nach Deutschland, в Германию.

В заданном направлении следует и штаб корпуса. Но уже без танков охраны — они оставлены позади, надо было отбиваться от наседающих на пятки немцев. Единственная защита небольшой колонны штаба нашего корпуса — наш разведотдельский бронетранспортер с американским крупнокалиберным пулеметом, которым мастерски владеет командир миномета Митя Бовтрук. Но что может сделать этот крупнокалиберный Митин пулемет, если — не приведи Господь! — придется единоборствовать с длинной пушкой-хоботом какой-нибудь немецкой «пантеры»?

И вот очередное дорожное происшествие. За него, кстати, и я среди других заработал один из своих орденов. Наша штабная колонна стоит в сумерках перед весьма неопределенной деревней. На нашей карте она есть, но неизвестно — кто в ней... А тут еще на пятки нашей небольшой колонне садится какая-то еще одна неопределенная колонна. Она вытягивается из леска, который мы только что миновали, и застывает в метрах 60—70 от нашей колонны... Все слишком серьезно, чтобы помнить о формальной стороне уставных отношений.

Андреяко, выполняя приказ Воронченко, говорит мне: «Женя, сходи, узнай, кто там подъехал».

У Жени — два принципа. Первый: приказы выполняются неукоснительно. Сему обучен еще на подходе к передовой осенью 43-го. Тогда перед строем 973-го стрелкового полка расстреляли и сбросили в яму трех «самострелов», один кричал: «Это ошибка!». В остальном инициатива и все же второй мой принцип: «Береженого Бог бережет».

Впрочем, помогают сберечь жизнь (да и не только одному мне!) советы «боевых товарищей по работе». «Набрось плащ-палатку немецкую, идиот, не в гости идешь!» — бросает мне Глыбовский. Ах, какой же умница был майор! — эта плащ-палатка, в сущности, и спасла всем нам жизнь, совсем рядом со смертью наш штаб оказался в тот вечер...

В сгущающейся темноте направляюсь от одной колонны, нашей, к другой — той... Уже различаю: впереди какой-то грузовичок, штабной явно. Позади, за ним темные силуэты «пантер», и не одна тут «пантера» — целая танковая колонна нам на хвост села... Мне хочется бежать назад, но я иду вперед. Непонятно мне все же, почему это «пан-

теры» позади штабного грузовичка прячутся, «пантерам» — при прорывах — положено быть впереди. А кроме того, если я удалюсь — что я замечен, нет сомнений, — танки, те, что в колонне, вперед и выйдут. Все остальное непредсказуемо. Впрочем, нет, в данном случае предсказуемо совершенно определенно и точно — нам всем хана.

Подхожу вплотную к немецкой колонне, нагло открываю дверцу зачехленного грузовичка. Передо мной в кабине немецкий офицер — с картой и фонариком на коленях для ориентировки — значит, впереди колонны этот грузовичок идет, ее за собой тянет. За офицером солдат-шофер. Нечленораздельно — страх скулы сводит — произношу с долей иронии: «О! Guten Abend!» (а ведь ночь уже!). Захлопываю дверцу и спокойно — что стоит мне это спокойствие! — иду назад к нашей колонне, затем, уже в темноте, бегу к «виллису», где сидит Воронченко, докладываю внеуставным вполголоса: «Немцы. Чёрт знает сколько. Много танков!». Определенной мной неопределенности позади полковник предпочитает неопределенность впереди. Времени на рекогносцировку нет. Колонна штаба втягивается в деревню, оставляя за собой так и застывшую колонну танков противника... И какое же счастье!.. В деревне застряла «тридцатьчетверка»! Т-34 — это грозная боевая машина. Но она... без пушки — оторвали ее немцы в дневном бою!

«Триумвират»: Воронченко, Андреяко, Глыбовский, совещается у меня на глазах. Принят план Глыбовского. «Тридцатьчетверка» сползает с шоссе, тихим ходом идет на северную окраину деревушки и начинает там всю газовать, двигаться туда-сюда: Грохот! Грохот! Грохот! По грохоту с газующей 34-кой с ее двигателем дизельным никакая «пантера» и даже никакой «тигр» не сравнится! Слава конструкторам Т-34! Тем же тихим-тихим ходом изуродованная «тридцатьчетверка» переползает на южную окраину деревни и снова: Грохот! Грохот! Грохот! Грохот десятков танковых моторов — Боже, как она ревет!

Немцы «раскусили» нас и поняли наш «замысел»: у нас тоже есть танки, и мы готовим им «клещи». Дело в том, что Т-34 с калибром пушки 76 мм в лоб «пантеру» и «тигра» или «фердинанда» не берут. Берут их только в бок. В деревню оболваненные нами немцы тут же посылают за чем-то несколько болванок, затем и артналет следует — мы, естественно, в кювете лежим. Но колонна немцев — ни с места всю эту страшную для нас, штабистов, ночь; немцы так и не решаются двинуться вперед. Страх командует немцами. А утром наступает и наше избавление от смерти. На выручку нашему штабу спешит вызванный по радиации Воронченко полк «ИСов». «Иосифы Сталины» с калибром пушки 122 мм берут любую «пантеру» и даже «тигра» и спереди, и сзади. Оказавшиеся между «двух огней» немецкие танкисты сдаются в плен; в деревню гонят солид-

ную их колонну. А потом... О! Стоимость страшной игры со смертью, если даже ты ее победил. Совсем, видимо, обезумевший от дневного и ночного стрессов водитель Т-34 — того, что без пушки, — пытается гусеницами давить колонну военнопленных... Митя Бовтрук заглядывает в комнату, где наш разведотдел разместился, и зовет меня посмотреть трагедию, что на площади деревни разыгрывается. Но я куда-то убегаю — не могу я это видеть, хотя тут и моя работа есть. И хотя я могу на фронте многое, очень многое...

Что я «могу» и что «не могу» на фронте

После того как 1-я Гв. танковая армия помогла захватить одерские плацдармы, ее направляют в Померанию подстраховать северный фланг фронта маршала Жукова. Мы движемся к Балтике. В какой-то брошенной вилле перекусываем на ходу. В вилле есть, конечно же, подвальчик с консервированными фруктами. Больше всех любит поесть Глыбовский, он же и распоряжается: «Женя, пару баночек!». Спускаюсь вниз, открываю дверь подвала, застываю, смотрю... Напротив двери висят хозяева виллы — старик со своею старухой. Они повесились, но, боже, как повесились! Водопроводная труба от пола всего на метр сорок, повеситься на ней можно только поджав ноги. Именно так хозяева дома и сделали...

В обмороки на фронте я не падал, не до того было. И пусть простит мне читатель, что рисую я теперь просто кощунственную, наверное, сцену, но зимой на Витебщине нам, минометчикам, довелось как-то отобедать, сидя на трупах замерзших немцев, ничего другого на снежном поле не было, а этих, замерзших, наши же мины и подкосили. Словно гребешком каким — в отличие от дальнобойного снаряда, посылающего осколки больше вдаль, — разорвавшаяся мина всю землю, начиная с воронки, словно прочесывает, все живое уничтожая...

Но в Померанию вернусь. Я прекращаю осмотр места происшествия, выбираю из банок на полке что повкуснее. За столом же без деталей сообщаю: в подвале хозяева висят, повесились старики. Глыбовский тут же реагирует: «Не худший для них вариант»...

Здесь, в этой вилле, обедать я могу.. А через пару часов в каком-то померанском городке я снова не могу:

Завязка истории: мы в комнате брошенного хозяевами дома. В расположившийся здесь разведотдел приводят какого-то немецкого санитаря. Он метался по территории нашего штаба, его, естественно, переправили к нам. Через пару минут иду с ним в покинутый персоналом,

по его словам, немецкий госпиталь. Подходим к дверям громадного пятиэтажного дома, фиксирую четко — санитар отстает. Засада? А у меня один ТГ!.. Все же отворяю решительно дверь. Боже! Совершенно невыносимый для живого человека запах гниющего человеческого мяса... Нет, мне это снова просто не под силу, а тут еще какой-то человеческий обрубок в бинтах к двери ползет... Но что я могу? Что могут сделать, выслушав меня, Андреяко и даже сверхнаходчивый Глыбовский? Нам через 15 минут снова бросок, километров на 50, к Балтийскому морю. А пехота в городок дня через два подтянется, комендант появится через неделю. Сгниют все там, в госпитале... И пусть они верят, что есть милосердный Бог на небе — ведь у каждого на бляхе ремня написано «Gott mit uns» («Бог с нами»)!. Вот и верьте в Бога...

Кстати, в разведотделе все ответственные переводы брал на себя Сан Саныч, но порой он, поступая как-то безответственно, перекладывал тяжелую ношу на мои молодые плечи... Так он сделал и в тот же день в Померании, когда в нашу комнату, где в полном составе расположился разведотдел, ввели какую-то бледную немецкую женщину. Многоопытный Сан Саныч не собирался предлагать ей стул и не стал ее допрашивать, разговаривать с нею пришлось мне. Но и я уже был по-своему опытен. С неделю назад мне пришлось оставить родителей изнасилованной и простреленной (около самого сердца девочки лет пятнадцати-шестнадцати навывлет пуля прошла) краткую записку:

«Любому командиру или бойцу Советской армии!

Помогите этим немцам доставить в наш медсанбат изнасилованную и раненую девочку.

Военпереводчик *(подпись неразборчива)*».

Итак, я беру инициативу на себя и вывожу бледную женщину в соседнюю комнату, спрашиваю: «Was ist los?» (Что случилось?). Мне, девятнадцатилетнему юнцу, не знавшему ни одной женщины, сорокалетняя немка говорит: «Ein Mann, zwei Männer... Aber so viel! Das ist unmöglich!» (Один мужчина, двое мужчин... Но столько! Это невозможно!). Я смотрю изнасилованной немке в глаза, соображаю, говорю: «Verstecken Sie sich irgendwo für diese zwei-drei Tagen. Dann kommt in die Stadt der Kommandant» (Спрячьтесь где-нибудь на два-три дня. Затем прибудет в город комендант).

Рассказывая этот эпизод, я вот что должен уточнить. Не надо думать, что Советская армия сплошь состояла из насильников, не было этого. Истории с бедной девочкой и бледной немкой, которой я дал практический совет (что стоит он в непредсказуемых ситуациях вой-

ны!), были в моей практике, не сказал бы, уникальными, но не так уж частыми. Но в армии были подонки, бесчинства творились и пьяными солдатами. У нас на подходе к Берлину один из лучших комбригов (кстати, Герой Советского Союза) погиб — попробовал отправить вперед выпивавших на обочине шоссе танкистов. И был застрелен одним из них из пистолета — не разобрался парень, кто перед ним в комбинезоне стоит... Ну а я — по долгу службы — должен был постоянно выслушивать потерпевшую немецкую сторону, обиженное население. Конечно, несколько женщин на всю Померанскую операцию не так уж и много, но все ли в штаб с жалобами обращались? Да и чем я приходящим в штаб мог помочь? Был, правда, уже в Берлине и случай совершенно анекдотический, офицеры разведотдела от смеху катались. В комнату вошла старушка лет под 85 и протест нам заявила. Оказывается, ночью (спала она на первом этаже) какой-то пьяный наш солдат к ней в комнату рвался, раму вышиб. Но скрылся тут же, услышав пронзительный визг хозяйки... Мы об этом происшествии никому не докладывали, торопились, как всегда, куда-то...

Но вот что серьезное, и очень, я бы хотел сказать в адрес нашего Генерального штаба, его отделов снабжения. В то время как германское командование ОКВ (Высшее командование вермахта) предоставляло солдатам регулярные отпуска, наших солдат домой, за редкими исключениями, не отпускали (как же — отпустишь их, потом собери!). Для того чтобы заслужить отпуск, надо было быть здорово покалеченным, стать временно непригодным для строя. И еще одну историю расскажу.

Мне как-то довелось переводить для нашего командования заинтересовавший его приказ по германской армии. В нем говорилось о срочном снабжении солидными партиями презервативов группы германских войск в Италии — там резко подскочил процент венерических заболеваний среди солдат. Мы же, естественно, и допустить не смели, что такое понадобится нам на территории Германии. Той самой Германии, которая, скажу я вам, была в то время уже чем-то вроде проходного двора всюю развоевавшейся Европы...

Женский вопрос в нашей семье

Не скрою — самым большим вопросом в нашей дружной семье, состоявшей только из мужчин, был знаменитый в России со времен Чернышевского женский вопрос. Решался он, если суммировать кратко, соответственно воинскому званию, должности и боевой смекалке.

Начальник разведотдела жил с хирургом нашего медсанбата Катей — извиняюсь, Екатериной Васильевой (фамилии ее я не знаю)... Знакомство их состоялось, когда во время одной из бомбежек подполковнику осколок бомбы вырвал солидный кусок мяса из его ягодицы и капитану медслужбы пришлось возвращать его в строй. Потом, во время формировок, она, маленькая, хрупкая, привлекательная — так уж мне казалось, — часто приезжала к нам в разведотдел; не к нам, конечно, а к Андреяко. А во время боевых операций — хотя это не предусматривалось вовсе в приказах командования — наш разведотдельский бронетранспортер совершал, по приказу Андреяко, сложный обходной маневр и появлялся в медсанбате. Но это случалось не часто, война есть война, а не развлечение.

Капитан Назаров во время боев никуда не заезжал, но во время формировок частенько отправлялся на мотоцикле в банно-прачечный отряд. Как и с кем он там познакомился — я, право, не знаю, он нам ничего о своих поездках не рассказывал.

Майор Глыбовский и Сан Саныч жили в основном воспоминаниями и почему-то любили делиться ими именно со мной — из-за моей неопытности в делах с женщинами, по-видимому.

У майора было две семьи. Одна, в Иркутске, была еще довоенная. Помимо этой, первой, семьи, майор завел еще вторую, где-то под Вязьмой, когда командовал батальоном и стоял на постое у местной учительницы. Сельская учительница из-под Вязьмы родила ему мальчика, естественно, когда майор уже отбыл из села. После войны майору предстояло решать, пожалуй, самую сложную в его жизни оперативно-тактическую, а может быть, и стратегическую задачу — куда же ему ехать, дети были в обеих семьях. Но, впрочем, из Отечественной, как всем нам в разведотделе, майору еще надо было вырваться живым; люди умирают даже на курортах, а на нашем «курорте» легко было умереть именно в солнечную, ясную, летнюю ласковую погоду — проклятые Ю-87, немецкие пикировщики, «лечили» нас довольно часто, избирая как цель наш штаб. Я уже не говорю о наших походных «процедурах»: оказаться под атакующими «мессерами» — тоже не удовольствие...

У Сан Саныча была общая для всех нас задача — выжить, но не было проблемы — куда ехать. У него была всего одна семья, вернее — жена, которая к 45-му вернулась из эвакуации в Ленинград (он был там крупным кораблестроителем). И к тому же жену эту Сан Саныч просто обожал. Правда, это была уже вторая его жена, с первой он развелся. А вторая очень уж подходила — судя по его бесконечным рассказам о ней — к фишеровской натуре немца-аккуратиста, во всем любящего безупречный порядок. Порядок этот, очевидно, все время нарушала

первая его жена — особа, по-видимому, очень беспорядочная. К тому же вторая жена была моложе Сан Саныча лет на двадцать пять, что тоже было немаловажно.

Итак, майор Глыбовский и старшина Фишер жили в основном воспоминаниями, а у меня практически не было таковых. Лет до 17, до призыва в армию, я был ужасно робок с девушками, она, эта доводившая робость, сидела во мне и в армии, сидела, черт ее побери вместе с Фрейдом, и после армии. Но зато вот и до фронтовой и после фронтовой жизни я частенько писал стихи. На фронте же мне оставалось (больше в «привилегированных» танковых частях, чем в пехоте) слушать долгие воспоминания и поучения своих старших многоопытных и успевших пожить на «гражданке» «боевых товарищей по работе», кое-что мотать себе на ус, да поглядывать украдкой на красивую спасительницу нашего главы семьи, фамилия которой, как вы уже догадались, была совсем не Андрееко.

Вот так обстояло дело с женским вопросом в нашей семье вплоть до вступления нашей 1-й Гв. танковой армии на территорию Германии. Здесь роли стали существенно меняться. Стал перевешивать не чин, но язык врагов наших, но и не только врагов. Появились на сцене нашей жизни совсем иные персонажи, и новые обстоятельства обернулись совершенно неожиданным зигзагом судьбы для моего друга и наставника Сан Саныча, так безумно обожавшего вторую свою ленинградскую жену.

Это случилось в малоизвестном, а Сан Санычу (и мне — о чем чуть позже) запомнившемся немецком городке Кирххайне, где мы обосновались ненадолго после того, как наш мехкорпус отвели на юг после боев в Берлине. Находившийся на полпути между Берлином и Лейпцигом городок мог похвастать лишь одной-единственной вымощенной каменной плиткой широкой главной улицей, где стояли слепленные друг с другом впритык дома состоятельных бюргеров, лавочки, аптека. А за главной улицей — тенистые, молчаливые прямые улочки, домики, спрятанные в садах, проулки, как-то незаметно переходящие в перелески и поля, еще ярко-зеленые, весело блестящие под ясным неустанным солнцем этих погожих весенне-летних дней мая—июня 1945 года.

Мы расположились на Моргенштрассе 12, главной улице Кирххайна, и Сан Саныч, который вдруг что-то прихворнул, решил зайти в аптеку, немецкую, что была неподалеку от нас. И нашел там не только лекарство от головной боли, но и вдовушку-аптекаершу, которая пленила его на несколько недель, вплоть до того дня, когда нам неожиданно приказали покинуть Кирххайн и перебраться на юг в Тюрингию, тоже в небольшой немецкий городок Геру.

Я ни капельки не осуждал Сан Саныча, когда он вечером уходил в аптеку за очередной порцией сердечного бальзама. И наверно, был прав — ведь вместе с ним мне пришлось бы осуждать половину человеческого рода (да и самого себя впридачу). Правда, кое-что в действиях Сан Саныча стало мне не по душе. Ему вряд ли стоило, на мой взгляд, продолжать писать полные нежности и тоски письма второй своей жене в Ленинград. Одно из них он, немец-аккуратист, оставил на столе среди военных бумаг, и я наткнулся на него случайно, разыскивая вдруг понадобившийся документ для майора Глыбовского. Каюсь, не удержался я и прочел несколько строчек, от которых мне как-то стало не по себе. Но ведь может статься, что письмо это Сан Саныч написал еще до своего знакомства с аптекаршей и не отправил его именно потому, что хаживал к ней вечерами? Хотя не знаю, меняет ли это дело...

Повторяю, я никак его не осуждал, осуждать мне его не подобало еще и потому, что и я возвращался в нашу с ним комнату зачастую под самое утро и был рад, что мне не приходилось нарушать его ранний сон. Ибо в те дни в Германии, в маленьком немецком городке Кирххайне, и я пережил свою первую любовь. Но о ней — чуть позже, я еще не кончил свой рассказ о разных фронтовых переживаниях...

Иван Панкин и Митя Бовтрюк

Хочу рассказать вот еще о чем. За годы моей службы в разведотдельской семье ей здорово везло. Все катастрофические события произошли в ней до моего прибытия в распоряжение подполковника Андреяко, где-то в конце марта — начале апреля 1944-го. Кстати, я совсем не знаю имени-отчества моих соратников — офицеров разведотдела, для меня они только «товарищ подполковник», «товарищ майор», «товарищ капитан»; Сан Саныча одного мы все в разведотдельской семье по имени-отчеству именовали, гвардии старшиной его как-то и неудобно было окликать, больно солидный и пожилой он был мужчина... Но, впрочем, не о том повел я разговор, я о катастрофических в разведотдельской семье событиях хотел рассказать.

На Украине еще до марта—апреля 1944-го немецкая «пантера» с ее длинной пушкой-хоботом подбила нашу разведотдельскую штабную машину; тогда 1-ю Гв. танковую в бок пырнула какая-то танковая германская дивизия СС, и она (не дивизия, а машина наша) горела со всеми разведотдельскими документами под боком у немцев, да и мой предшественник на посту военпереводчика 1-го разряда тогда от взрыва снаряда погиб. Но горящую машину — мотор остался цел — угнали

от немецких танков в близлежащую деревню сидевшие в кабине и оставшиеся целехонькими шофер и Сан Саньч, он-то и спас тогда ценные штабные документы — свой орден Красной Звезды заслужил. Как я завидовал ему поначалу, пока свои два офицерских ордена в боях не заработал! На Украине же, где все это случилось, попал и подполковник Андреяко в медсанбат — к своей Кате, поставила она его снова на ноги, но одна из них была теперь изуродована. Я явно повторяюсь, говорил об этом уже, но вот что хочу теперь добавить: вернулся Андреяко в разведотдел, обретя прескверную привычку дурного обращения с пленными германскими летчиками, слава Богу, они не так уж часто к нам попадали. Упомянув имя Господа Бога, о деталях умолчу, ограничившись таким вот определением: пленный — это попавший в ваши руки человек, только что хотевший убить вас; главное для пленного — миновать передовую с ее озверевшими в горячке боя и почти никем и ничем не управляемыми — кроме чувств страха и мести — людьми. Мы в разведотделе, как правило, на самой передовой не были, но языческое чувство мести в Андреяко при виде пленного летчика явно разыгрывалось...

Но все катастрофические события в разведотделе, повторяю, произошли до меня на Украине, до моего прибытия в распоряжение Андреяко, а при мне не только капитану Назарову, но и всей нашей фронтовой семье дьявольски везло (хотя и мы этому порой сами содействовали, сколько могли). Но особенно везло на фронте Андреяко и мне, ездившим к передовой. Нашему везению очень поспособствовали два человека, точнее, два бойца, которых я очень хотел бы видеть на нашей «семейной» карточке, но которые не попали в объектив заезжего фронтового фотографа из-за своего солдатского звания. Я говорю про Ивана Панкина, бывшего колхозного тракториста, ставшего в 44-м шофером разведотдельского бронетранспортера. У него, правда, всегда потели руки и судорожно напрягалась спина, когда мы подъезжали к молчаливым деревушкам или опушкам лесов, но я не помню случая, чтобы у него в операциях забарахлил мотор, а разворачиваться он умел паразитически быстро, когда мы заезжали туда, куда не след было заезжать танковой разведке. А учтите, что бронетранспортер — машина тяжелая и не очень-то поворотливая.

А мой друг, тоже солдат, Митя Бовтрюк, стал командовать нашей боевой машиной после одного из боев на Сандомирском плацдарме, после того как Андреяко услышал про него, я бы сказал, легендарную историю. Митя был пулеметчиком подчиненного нам разведбата и в одном из боев, когда очередь немецкого пулеметчика что-то повредила в его вооружении, не повредив его самого, Митя просто-напросто

пополз в обход к своему сопернику, скрываясь в траве, подобрался к немцу сзади и то ли его придушил, то ли разорвал. Какая из этих версий верна — не знаю, но знаю одно — сила в Митиных руках была страшная, и от демонстрации некоторых приемов, которыми он владел, а я совершенно безуспешно пытался заучивать, у меня мгновенно темнело в глазах, хотя Митя всего-навсего шутил со мной — он любил со мной, «очкариком», иногда так вот пошутить. С немцами Митя не шутил. На Украине под немецкой оккупацией погибла вся его семья, отец, мать и сестры (не было только среди погибших его самого, уже призванного в армию).

Не знаю, так или не так это было на самом деле — чужая душа потемки, как говорят, но из всех ездивших на нашей боевой машине один Митя не знал, что такое чувство страха. Во всяком случае, когда на расположение штаба заходили Ю-87, я говорю про проклятых пикировщиков, или когда с чердака какого-нибудь дома, мимо которого мы проезжали, начинал неожиданно бить немецкий пулемет, Митю все эти летающие или приземленные объекты интересовали не как объекты, желающие его, Митю, убить, а только в одном отношении — как мишень, куда должен был Митя непременно попасть из своего американского крупнокалиберного. Кстати, мы ездили в свои страшноватые фронтальные экскурсии на американском бронетранспортере, и спасибо тем парням на заводах Форда или Студебеккера, которые сработали для нас добрую боевую машину, и тем спасибо, кто ее через океан к нам доставил на фронт, и попала она сначала в разведбат, а затем в разведотдел нашего мехкорпуса. И спасибо еще раз Мите Бовтрюку за то, что он никогда не склонял голову перед свистящей пулей, и за то, что он умел попадать в цель. Правда, уходили от Митиных очередей невредимыми распроклятые Ю-87, но я, наблюдая за Митиной стрельбой по ним из щели, вырытой у дома разведотдела, вот что заметил: Митины начиненные трассирующими пулями очереди и мешали точному бомбометанию пикировщиков...

Спасибо, спасибо еще раз за воинскую доблесть и мужество Мите Бовтрюку, за что и держал его Андряко при нашей разведотдельской семье вместе с Иваном Панкиным.

Кстати, раз я уж заговорил об Иване и Мите, расскажу одну смешную историю о неумной Митиной инициативе. Где-то в Прикарпатье среди трофеев нам попала целехоньякая с комплектами снарядов (по 5 в обойме) немецкая зенитная пушка, и Митя решил срочно усилить вооружение нашей боевой машины. Полдня — у нас была какая-то передышка — ребята прилаживали орудие к бронетранспортеру, да и я присоединился к ним из любопытства. На пустынном берегу какой-то речки

Митя нашел мишень — заброшенное строение; прицелился и дал залп из укрепленного на нашей машине орудия. Не учел он одного — у немецкой зенитки была во время стрельбы зверская отдача, она дико металась туда и обратно. Митя сразу же получил страшный удар по скуле, которую он неосторожно к немецкой пушке приблизил... Конечно, пушка была тут же демонтирована, брошена с презрением в речку, а Митя недели три ходил с громаднейшим синяком на скуле.

Вообще, скажу я вам, шуточки с оружием на фронте плохи. Я как-то вечером вышел из дома, где расположился разведотдел, чтобы найти в зачехленном от дождя бронетранспортере какие-то вещи для Андряко. Пока я рылся в ящиках, лежавших в задних отсеках, в моих руках оказалась ракетница — из тех, которыми мы так любовно общались с ИЛами... Черт меня дернул машинально нажать курок — в закрытой машине произошел всполох огня, дышать от запаха пороха стало невозможно, и я на какое-то время потерял сознание. Потом уже кое-как я выполз из бронетранспортера и приходил в себя на свежем воздухе, лежа на траве. С большим запозданием я вернулся в хату, где обо мне уже начали беспокоиться друзья, даже сам Андряко... «Я что-то ничего не нашел», — сказал я ему. Про свою расхлябанность рассказывать было совсем ни к чему, хорошо еще, что в боевой машине ничего не взорвалось — ведь там, в канистрах, хранился бензин...

Неучтенная боевая награда

Про то, как я заслужил орден Отечественной войны II степени, я рассказывал. О том, что у меня есть и не учтенная в документах боевая награда — солдатский нагрудный знак «Отличный разведчик», я вам сейчас поведаю. Я заслужил его на офицерской должности и помимо всякого начальства, что вообще-то против всяких правил... Но давайте по порядку вести рассказ. Как вообще попадают бойцы в разведбаты, разведроты, разведдзводы?

Перед Демидовской операцией, когда комполка 973-го построил на поляне у леса прибывший резерв, он производил любопытный его расклад. Про то, как рослых отделили от нерослых и что за этим последовало, я уже говорил. Скажу теперь об отделении отчаянных от осторожных или трусливых... После приказа своего «Смирррна...» комполка громко сказал: «А ну, кто хочет весело повоевать — три шага вперед!», Человек двадцать вышли из нескольких сот построенных. Они-то и составили разведзвод или разведроту — не знаю точно, что за часть комплектовал комполка 973-го...

Как весело, но не всегда, конечно, воевал — играл со смертью наш разведотдел, я вам сообщил. Поведая теперь о неучтенной, но очень дорогой для меня награде.

Ею наградил меня при расставании нашем Митя Бовтрюк — и это был совсем не простой значок. Этот значок «Отличный разведчик» был снят им с тела убитого товарища, и в довольно необычной обстановке — на территории противника. Кровь действительно запеклась в краске, в центральном кругу, на котором лежали золотые серп и молот, все же знаки гражданской жизни, и вокруг шел белый обвод с маленькой звездочкой и надписью золотом «Отличный разведчик». Внизу, на красном щите, не очень приметные автомат и... сабля. Плюс к тому бинокль и колосья, из-за щита выглядывающие. В общем, неплохая имитация почетного знака НКВД... где щит и меч, который я не очень-то уважаю. Но здесь в центре все же серп и молот...

Имел ли вообще Митя Бовтрюк право передавать мне сей значок, еще и прибавив: «Там, в штабе, такой тебе не дадут»? Думаю, имел, в силу подвигов своих. Иногда за ошибки командования разведка крепко расплачивается. Так и случилось с лучшим разведчиком нашей армии старшим лейтенантом Подгорбунским, разведчиком отчаянным, который мог с лихой тройкой Т-34 с их грохотом и ревом ворваться на железнодорожную станцию и разгромить эшелон-другой, из стоящих на погрузке немецких танков. А вот на Сандомирском плацдарме его послали по приказу маршала Конева, которому передали противоречивые данные, узнать: кто, мы или немцы, занимают некий, якобы взятый нами, важный участок. Он был послан туда во главе разведгруппы с одним танком, орудием и тремя бронетранспортерами и оказался в самой гуще идущего здесь боя, вернее, танкового сражения. «Тигры» вдребезги разбили маленькую колонну разведчиков; смертью храбрых пал и Подгорбунский. А ночью на немецкую сторону пополз в сплошной тьме Митя Бовтрюк, нашел нашу разбитую колонну и перетащил на нашу сторону труп Подгорбунского — для похорон со всеми почестями. Да еще значок «Отличный разведчик» с какого-то убитого бойца снял, потом долго в кармане таскал, потом взял и мне подарил — я его, Митю, в ту памятную ночь провожал. Не отказался я от Митиной награды, не меньше орденею ее ценю, ибо сам Митя меня оценил.

Хотя, прямо признаюсь, по натуре я весьма осторожен, а упоение в бою, которое Лев Толстой с вдохновением таким описывает в романе «Война и мир», всего два раза за два года войны испытал.

Первый раз оно пришло ко мне на площади занятого нами наконец-то городка Демидов, где и была поставлена — безо всякого укрытия —

нана батарея 120 мм. Под звуки разрывов немецких снарядов и свист осколков мы вели бешеный огонь по отходящим немцам, столь яростный, что я забыл просто про Смерть, одним огнем жил да поправками сбивающейся на сторону прицельной линии — через каждые два-три залпа мат ушедшего на НП комбата по телефону раздавался, и мы, через приказы комвзводов, прицелы подправляли...

Второй раз это было, когда мы с передовым отрядом разведбата к самой окраине Берлина вышли и наши танкисты, почувствовав близость победы, в восторге давали залп за залпом из своих орудий по направлению к центру столицы Третьего Рейха — дальше нам двигаться каналы мешали. Запомнились мне тогда в Берлине сделанные повсюду громадными буквами надписи: «Berlin bleibt Deutsch» («Берлин останется германским»).

Что я могу ныне сказать? Осуществился этот лозунг десятилетия спустя, но все же не без нашей помощи, и, слава Богу, теперь мы с немцами более всего вроде дружим. А я перехожу от вопроса о наградах и упоении в бою к своей философии войны, есть даже и такая у меня, к своей трактовке в ней необходимости. О роли случая к концу своего рассказа поговорю, — это на войне, да и вообще в жизни, самая важная тема.

О том, как Митя убил долговязого друга Фрица

Его привели к нам в разведотдел вместе с еще одним солдатом в какой-то прикарпатской деревушке, когда мы надолго застряли под Станиславом, длинного шофера-ефрейтора бронетанковой дивизии СС, естественно нациста. Он этого не отрицал, да и отрицать было тут нечего, у танковых дивизий СС — своя форма. Был при Фрице — Фриц его настоящее имя — и карманный справочник члена НСДАП с какими-то таблицами по определению состава крови и острых и тупых углов подбородка. Приключения Фрица начались при первом же допросе, который вел сам Андряко...

Ефрейтор Фриц показал: принадлежу к танковой дивизии, ефрейтор; дивизия СС на станции Станислава, на путях, *погружается*, скоро отбудет... Куда? — не знаю...

Простой солдат показал обратное: в Станислав прибыла танковая дивизия СС, она на путях станции; *разгружается*...

Все это было слишком серьезно. Мы, как я уже говорил, надолго застряли под Станиславом, «тридцатьчетверок» у нас осталось в корпусе из двух с половиной сотен всего десятка два-три, генерал Дремов чего-

то прихворнул, и командовал корпусом наш Начштаба Воронченко. До него дошли сведения авиаразведки о скоплении массы танков на станции, по его приказу разведчики доставили в штаб корпуса двух «языков», но они оба утверждали на допросе прямо противоположное!

Подполковник Андреяко из Штаба нашего 8-го Гв. Мехкорпуса вел своего рода негласное соревнование с разведчиком полковником Соболевым из разведотдела 1-й Гв. танковой — тот значился лучшим разведчиком на всем фронте! На том памятном допросе реакция Андреяко на ответы пленных была мгновенной; он выложил свой маузер на стол, и Сан Саныч перевел грозным голосом грозные его слова: «Даю одну минуту! Не будет у меня ясности, оба будете на том свете!».

Ефрейтор СС держался за свои показания твердо. Но вот солдат сплеховал — его прохватил понос! «Weiss nicht!» — вскричал он, придерживая полные штаны рукой. Было очень смешно, но никто не смеялся. Минут через десять солдата наш бронетранспортер уже вез в штаб армии (кальсоны он оставил хозяйке дома в чулане, где сидели пленные). А вот ефрейтора СС подполковник попридержал при нашем разведотделе для собственной надобности... Кстати, его показания он счит верными и тут же передал Воронченко.

Через десяток дней Андреяко пересказал нам, когда мы сидели за столом и обедали, только что состоявшийся свой разговор с разгневанным Воронченко. Передаю, что запомнил, вроде все точно:

Воронченко: «Товарищ подполковник, попрошу Вас разъяснить, почему Ваши разведданные постоянно расходятся со сводками штаба армии? Они вот сообщают, что по крайней мере одна танковая дивизия СС прибыла в Станислав. Вы же мне доложили, что она отбывает из Станислава».

Андреяко: «Но ведь Вы же взяли Станислав, товарищ полковник. Мы теперь «Гвардейский Прикарпатский корпус» — сегодня Москва передала, мы приказ Главнокомандующего по рации приняли!»

Воронченко: «Ну и еще что?»

Андреяко: «Да ничего. Просто Соболев не умеет допрашивать пленных, интеллигент он!»

Вот последних слов подполковнику произносить не стоило. Да, командование штабов армии состояло из интеллигентов, полуинтеллигентов и совсем неинтеллигентов. А вот наш Воронченко был интеллигентом до мозга костей, хотя и прекрасным кадровым офицером...

«Ну и я интеллигент, — заканчивает разговор с Андреяко Воронченко. — А вот Вы кто?».

В разведотделе гомерический хохот. Хохот не по поводу этого диалога, а скорее по поводу предыдущего, вернее по поводу обоих диало-

гов. Теперь вот подполковник взял реванш — а тогда он явно оплошал. Хотя, честно говоря, смеяться всем нам было грешно. Ведь длинного Фрица уже не было на этом свете...

Дело в том, что после того краткого, но примечательного допроса Андреяко не отправил Фрица в штаб армии, как ему следовало сделать, а попридержал его при нашем разведотделе. У Андреяко появился как раз в это время прекрасный немецкий трофейный автомобиль Volkswagen, предназначался он, весьма простой, но скоростной работа, по первоначальному замыслу для нужд немецкого народа, но оказался весьма пригодным для нужд затеянной Гитлером войны. И вот к трофейному автомобилю подполковник весьма удачно подобрал трофейного же шофера, и все стало на свои места. Уже не надо было снимать с боевой машины бронетранспортера Ивана Панкина, когда Андреяко во время нашего долгого сидения под Станиславом уезжал по вечерам к Кате в медсанбат; снимать-то он Ивана с бронетранспортера для своих поездок снимал, но, как я уже выше сказал, бронетранспортер — боевая машина, без шофера она перестает быть таковой. Правда, Андреяко и сам прекрасно водил автомобили любой марки и лихо уезжал иногда в близлежащий лесок, когда к деревушке, где расположился штаб, направлялась очередная стая Ю-87. Но ему вот ужасно захотелось теперь поездить в медсанбат на персональной машине с личным шофером — и вообще мало ли какие причуды могут появиться у человека в цветущем сорокалетнем возрасте, хотя и с чуточку изуродованной ногой? Почему людям в форме нельзя немного и почудить... о последствиях не особенно размышляя?

И вроде бы все уладилось — к удовольствию не одного Андреяко только. На трофейной машине появился трофейный же шофер — с его черного мундира Митя Бовтрюк, естественно, содрал погоны и нашивки СС. По вечерам долговязый Фриц отвозил подполковника в медсанбат и с машиной в сопровождении Мити возвращался обратно в разведотдел. Утром совершалась Фрицем вместе с Митей еще одна поездка в медсанбат, за Андреяко. Днем использовал Фрица я — для совершенствования немецкой разговорной речи, пытался овладеть баварским наречием. Берлинское худо-бедно я понимал, от австрийского был в полном восторге — все было понятно. А вот с баварским было у меня schwach — совсем никуда. А Фриц оказался не только нацистом, а и баварцем — ну как этим не воспользоваться? Митя и Иван, спавшие вместе с Фрицем в одном сарае, были тоже не прочь превратить его в своего домашнего работника. Ребятам Фриц драил боевую машину, стирал белье и таскал нам всем нехитрый солдатский и офицерский обед с кухни, который мы вполне по-братски делили с Фрицем.

Именно в таком вот виде, в мундире германской бронетанковой дивизии (хотя и без нашивок), с двумя котелками в обеих руках Фриц и предстал пред полковником Воронченко, который, видимо, вышел поразмышлять, — на ходу человеку порой приходят ценные мысли, — как его корпусу все же овладеть Станиславом, повторюсь: его обессиленному порядку корпусу.. Кстати, очень я ценю это слово — *овладеть*, оно словно создано для описания самых разнообразных ратных подвигов... Но теперь я не об этом, а о том, как всей нашей идиллии с Фрицем пришел закономерный трагический конец...

Через пару минут в хате, где расположился разведотдел, зуммерил телефон, и Андреяко, на ходу заправляя гимнастерку под португепу, бежал к дому начштаба. Что там Воронченко говорил Андреяко, тот нам никогда не пересказывал; адресованный тебе мат вряд ли стоило вообще передавать. Но еще минут через десять Митя Бовтрюк с автоматом уже вел длинного Фрица по какой-то тропинке в близлежащий лесок, но прогуливался недолго, вернулся один и, мрачный, уединился в сарае.

Перед прогулкой Фриц, естественно, понял, что стряслось нечто непоправимое, но я его успокоил, сказав полуправду, — что он попался на глаза начальству и что его приказано немедленно отправить в тыл... Правду я не мог сказать: ситуация сложилась не из простых. На тылы 1-й Гв. танковой выходила из котла немецкая группировка, нас она не трогала и мы ее тоже, так что путь в разведотдел штаба армии был пока открыт... Но пришлось бы разъяснять разведотделу штаба армии — почему мы на столько дней задержали доставку важнейшего пленного, тут и СМЕРШ мог вмешаться в дело... И решено было Воронченко вместе с Андреяко Фрица по инстанциям не направлять, а отправить сразу в наивысшую...

Я вот с войны убежденным атеистом стал, хотя ныне вроде бы к скептицизму больше склоняюсь в вопросе о Боге. Но скажу вам, страшные есть в военном лексиконе, в военной философии, что ли, слова: НЕОБХОДИМОСТЬ, ПРОМАШКА, СЛУЧАЙ...

А тут в смысле НЕОБХОДИМОСТИ абсолютно прав был полковник Воронченко, а не подполковник Андреяко. СЛУЧАЙ отправить Фрица в разведотдел штаба армии, как ему и положено было, он упустил десять дней тому назад, и теперь за его ПРОМАШКУ Фриц жизнью расплатился... Наш подполковник явно хватил через край, и все из-за любви к своей Кате. Фриц знал далеко не все, но знал совершенно точно очень многое — месторасположение нашего штаба. И выйдя по нужде ночью из сарая, он, нацист, через пару часов мог оказаться там, где гремело и полыхало, где была передовая, к немцам уйти, о нашем штабе рассказать...

В детали последней прогулки Мити с Фрицем я не буду углубляться, хотя их от Мити знаю, но одно вам скажу, читатель. Я сам нередко допрашивал пленных на ходу, наша танковая армия уходила в прорывы, допрашивать пленных было необходимо, но вот отправлять в боевой обстановке их было совершенно некуда, возить их, нередко раненых, было тоже ни к чему... И в критических ситуациях Митя спокойно делал свое дело — так же спокойно, как отрубал в деревне голову курице или прирезывал поросеночка... Нет, совершенно нескатки побывали немцы по замыслу фюрера в далеком украинском селе, сколько людей от одного Митинога автомата погибло за бредовые замыслы маньяка! Но тех, других, я как-то не запомнил, а вот Фриц не выходит из моей памяти, да и сердца моего — уж больно он помог мне с баварским. Помню я прекрасно и совершенно расстроенное лицо Мити, когда он возвратился из своей последней с Фрицем прогулки и удалился в сарай...

Кстати, я сохранил до конца войны и привез на Родину справочник члена НСДАП, принадлежавший Фрицу. Открывался он заповедями, которые следовало помнить нацистам, да и всей немецкой нации. Самая первая, наиважнейшая из них гласила: «Der Führer hat immer recht» («Фюрер всегда прав»). Нацист Фриц своей жизнью подтвердил безмозглость заповедей фюрера. А сколько всего соотечественников его из-за них во Вторую мировую полегло? Вроде бы до 9 миллионов...

Но, наверно, пора уже кончать с печальными и страшными сюжетами в танковой разведке и переходить к развлечениям — какая же разведка без фронтовых развлечений?

Прикарпатская баня

В том же прикарпатском селе, вблизи которого Мите пришлось прикончить своего друга Фрица, случилась и другая история, в которой участвовали с одной стороны — майор Глыбовский и я, а с другой — несколько молоденьких, но вполне искушенных в делах житейских медсестер нашего поджавшегося поближе к штабу медсанбата.

Сидение нашего мехкорпуса под Станиславом было долгим, недели две-три, и в селе, где мы расположились, добрыми людьми была устроена баня. У дверей ее в один из дней нашей серой армейской жизни майор Глыбовский и я столкнулись с пятью медсестрами. Пришли мы помываться первыми (от разводотдела до бани было метров 300). Медсестрам пришлось одолеть километр-полтора, и ждать им, пока мы с майором помоемся, совершенно не хотелось. А нам не хотелось усту-

пать им очередь и ждать, пока перемоются пять баб; «долгая это процедура», — бросил мне многоопытный майор.

И вот, в результате словесной баталии, в ходе которой ни одна из сторон не пожелала сдавать свои позиции, все вместе оказались как-то неожиданно для них самих в одном и том же крохотном предбаннике, затем одновременно и демонстративно, насколько сделать это было здесь возможно, стали, повернувшись спинами друг к другу, раздеваться.

Вся эта боевая операция, которой с нашей стороны руководил майор, с присущим ему талантом, знанием сильных и слабых сторон противника, а главное, его тайных намерений, кончилась тем, что мы вместе начали мыться в бане, заняв разные ее углы. Здесь я увидел воочию, а не на картинке какой, совершенно нагое женское тело. Правда, какое оно в деталях, толком я тогда не разобрал — в бане было чертовски много пару и визгу, особенно на приступках печки и у бади с водой, но я, в отличие от майора, попариться вместе с сестрами так и не посмел, больше смотрел...

Как видите, совершив сюжетный ход, я снова вернулся к знаменитому со времен Чернышевского женскому вопросу и продолжу свой рассказ о том, что произошло не только с Сан Санычем, но и со мной в маленьких немецких городках, сначала в Кирххайне, потом в Гере...

Deine Lotti

...Как всегда, первым въехал в Кирххайн наш разведотдельский бронетранспортер. Было еще не поздно — часов шесть вечера. Но городок словно вымер. Улица была пустынна и полчаса спустя, когда я вышел на порог того дома, что на Моргенштрассе 12, где расположился наш разведотдел. И только из дверей соседнего дома, что рядом — Моргенштрассе, 14, выглядывала немецкая девушка. Затем она вышла — в темно-синих брючках, очень тоненькая и аккуратная, привлекательная, ей было на вид пятнадцать-шестнадцать. А о том, что встречать немецким девушкам Советскую армию вообще-то не стоило, я, военпереводчик 1-го разряда, знал не меньше, а может быть, больше других. Ведь именно к нам, в разведотдел 8-го Гв. механизированного корпуса как-то сами собой стекались, как я уже говорил, все жалобы обиженного нашими солдатами или самой войной населения.

В витебских наших лесах зимой 43/44-го я здорово погрелся у пылающих русских изб — дома не только в деревнях, но и в городках России больше деревянные, и очень жарко горели они, когда их поджигали

отходившие немцы, чтобы дать погреться как следует нам, солдатам, бабам, старикам, но особенно детям, жившим в этих домах. Но я видел и то, как горели уже весной 45-го — горели просто так, безо всякого приказа или какой-либо военной надобности — немецкие городки. Горели через день-два после того, как их целехонькими брали бригады нашего мехкорпуса или наш разведбат, горели, хотя все дома были в немецких деревнях и городках каменные.

Можете называть войну какой угодно: справедливой или несправедливой, революционной или контрреволюционной, оборонительной или наступательной, захватнической или освободительной. Но для меня она означает только одно — смертоубийство, превращение человека в нечеловека или пробуждение в человеке зверя — выбирайте, как уж вам больше понравится. Разница была лишь в том, что в освободительной войне передо мной были захватчики — а это уже не «люди». Нелюдей я и убивал, большей частью коллективно, хотя и не только. А зачем и для чего я заходил порой в брошенные хозяевами-немцами каменные дома, я теперь скажу откровенно — чтобы послать посылку маме на Родину (тогда все мы посылали через военпочту посылки домой). Правда, до этого немцы грабили французские, бельгийские, русские, украинские, белорусские, да и другие города, так что мы вроде бы были квиты. Но даже если вы все же так считаете, то и тогда не стоит забывать о том, что есть война.

Кстати, куда хуже войн отечественных, национально-освободительных и прочих справедливых войны гражданские. Пленных в них на месте расстреливают или же... вливают в свои части, командиров и комиссаров предварительно расстреляв.

«А Вы не боитесь русских?» — завязал я разговор с молоденькой соседкой.

«Боюсь, — призналась она. — Но и дома сидеть не могу. Ставни закрыты, еще страшнее. Лучше постоять здесь на улице, на машины посмотреть».

«А Вы не бойтесь, — сострил я великодушно. — Мы живем теперь рядом, если что — стучите прямо в стенку...».

Так началось мое знакомство с Шарлоттой Шульце, единственной дочкой добропорядочного бюргера маленького городка Кирххайн, проживающей на Моргенштрассе, 14. Матери у Шарлотты не было, а лет ей оказалось ровно столько, сколько и мне, — двадцать. А в том, что Шарлотта была по-настоящему прелестна, я и сейчас убеждаюсь каждый раз, взглянув на ее фотографию, которая лежит рядом с моими прочими документами, фотографиями, регалиями в левом верхнем ящике моего письменного стола (ныне представляю ее в моей книге и вам).



Deine Lotti. 25 июня 1945 года.

Свое сокращенное имя «Lotti» Шарлотта написала в нижнем правом углу карточки, на ее лицевой стороне. Слева ее рукой проставлена дата: «25 Juni, 1945». На обороте карточки бегут вязью строчки «Dir, lieber Eugen, zu bleibenden Erinerung. Deine Lotti» (Тебе, дорогой Евгений, на всю оставляемую тебе долгую память. Твоя Лотти).

Бог ты мой! 60 лет уже прошло со дня 25 июня 1945 года! Это день нашего расставания, конец моей первой в жизни любви, черта, за которой кончилась моя юность. Но до этой черты пробежали целых полтора месяца...

Впрочем, не бойтесь, читатель, рассказ мой будет не долг, ибо что такое первая любовь в юности, знают все или почти все.

У наших домов, как я выяснил в первый же день нашего знакомства, были рядом не только парадные двери, которые выходили на улицу, но и двери черного хода — и выходили они в один и тот же сад. Калитка сада открывалась на одну из улочек Кирххайна. А пройдя с полкилометра, можно было выйти на окраину городка. Там стоял домик, в котором жила подруга Лотти — Клара. Ее парень, помнится, его звали Ганс, пропал где-то в 43-м на Восточном фронте и, кто знает, не срубил ли его осколок одной из тех пудовых мин, десятки и десятки которых повывлеывал в 43-м в витебских лесах гулкий до боли в ушах мой 120 мм миномет, судорожно, как лягушка, скакавший при каждом выстреле и вечно сбивавший у меня прицел. Но ненависти у Клары к русскому солдату не было, было любопытство, было желание помочь подруге скрыть ее великую тайну, и была надежда на то, что ее Ганс все-таки вернется в Кирххайн, хотя я полагаю, что вряд ли это произошло —

сто наверняка убил если не мой осколок, то чей-нибудь еще или чья-нибудь пуля; он служил рядовым пехотинцем...

В домике Кларты я учился танцевать под призывные звуки немецких танго, слушал шемающие душу шлягеры о дальних странах и долгих плаваньях (немцы — большие любители таких песен), и мне кажется, что здесь я в первый раз услышал песню, которая в России зовется «Голубка». Здесь я упивался немецкой — но совсем иной, чем на допросах, речью; в ней не было совсем слов «Truppen», «Panzer», «Angriff», а были какие-то совсем другие слова. Впрочем, их, хотя и не все, я знал из поэзии Генриха Гейне, и они уже до войны волновали меня. Как раз при уходе моем в армию у меня появился и томик стихов Гейне — подарок моего пензенского учителя немецкого языка, и я таскал его на фронте в солдатском вещмешке, пока не потерял вместе с вещмешком в одной из боевых перестрелок. Некоторые из стихов Гейне позднее я перевел на русский язык, раздобыв его сочинения уже в Германии, вы их увидите в конце книги.

Но теперь немецкие любовные слова стали чем-то вроде второй родной мне речи (что в этом плохого?) — родной через голосок Лотты, через странные ее выражения, вроде «Du, Mensch» (Ты, человек), которые не отыщешь ни в одном немецко-русском фразеологическом словаре. А слова простенькой песенки, которую я услышал на пластинке Кларты, на немецком, я запомнил на всю жизнь, хотя песенка сама по себе вроде бы и не стоит того, чтобы ее запоминать; но она и не существует для меня «сама по себе», а только вместе с памятью о Лотте:

Am Abend auf der Heide,
Da küssten wir uns beide.
Und deine Lippen sprach,
Was keiner weiss,
Was keiner weiss,
Nur ich...

Уже вернувшись в Россию, я как-то перевел слова этой песенки с одного языка на другой, не знаю, как перевод получился:

В тот вечерок на поле
Мы целовались вволю,
И говорил мне голос твой,
И говорил мне шепот твой,
Что знаем только мы с тобой,
Что знаем только мы с тобой —
Никто другой...

Лотти, Лотти, жива ли ты, как живешь?

Убегали одна за другой сначала майские, затем июньские недели — недели моей с Лоттой первой любви, а сколько ей суждено было продлиться, решали не мы с ней, вопреки мнению тех великих и величайших философов, которые уверяют, что человек — хозяин своей судьбы и волен решать во всех действиях своих все сам. К великому моему сожалению, это сказано не о солдатской судьбе... Решал в данном случае нашу судьбу даже не командир нашего мехкорпуса генерал Дремов, про которого поговаривали офицеры, что был он не очень-то даровитым генералом и, наверное, погубил несколько десятков лишних танковых экипажей из пары тысяч тех, которые все равно должен был погубить. Решал это даже не Главнокомандующий наш, там в Москве, про которого мы, фронтовики, ничего тогда не говорили, больше помалкивали — в отличие от нынешних времен. Даже он не был властен над судьбами нашей с Лоттой любви, хотя распоряжался судьбами миллионов, не один миллион из них так или иначе отправил на тот свет, и, отправляя их, по своей, мне, историку, понятной подозрительности, чересчур уж много, сказал он именно в те страшные 30-е годы «ежовщины» свои золотые слова: «Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющих в мире, самым ценным и решающим капиталом являются люди, кадры». Кто не согласится с мудростью этих вот слов?

Но не надо уходить от темы рассказа. Сколько времени продлится наша с Лоттой любовь, зависело не от Москвы, а от Вашингтона. Американцы не очень-то торопились очищать германскую землю Тюрингия, которая по Высокому Соглашению была отнесена к Советской оккупационной зоне. В Вашингтоне все чего-то тянули и ждали, а потому ждала и наша 1-я Гв. танковая армия, пополненная — в который раз! — присланными с Урала новенькими зеленоватыми танками Т-34 и вернувшимися из госпиталей русскими, украинскими, грузинскими парнями, — ждала, чтобы своевременно переместиться союзникам под бок, так сказать, на всякий случай, ибо слова «согласие, дружба, соглашение, доверие, клятва» имеют в политике смысл совсем особый, непохожий на смысл, который они имеют в простых человеческих отношениях. Хотя — не будем лицемерить — и в простой жизни далеко не все так обстоит благополучно со смыслом этих самых слов...

Американцы помедлили несколько недель, а потом все же отошли.

Так вот почему в ту ночь я простился с Лоттой, а рано утром наш разведотдельский бронетранспортер, заурчав, выполз на автостраду, ведущую на юг, в германскую землю Тюрингия. Через пару дней мы — передовая группа нашего мехкорпуса — должны были прибыть в Геру, тоже

маленький городок, произвести разведку и подготовить в нем месторасположение нашего Штаба — он во время войны и после нее всегда прятался в маленьких местечках и городках...

Как видите, не все военные обычаи мы после войны отбросили, осторожность никому еще не вредила...

71:0

В тот день, мы в пять утра, 5.00, говоря словами приказа, полученного в разведотделе, выехали в Геру, куда должны были прибыть через два дня, ровно в 17.00. Гера, впрочем, была чуть побольше Кирххайна.

Пейзажи описывать я не мастер и, честно говоря, вообще не помню многие наверняка прекрасные места, которые мне удалось увидеть за годы войны, и тогда, когда я с ребятами из минометной батареи 120 мм таскался по витебским лесам, и особенно потом, когда я уже попал в танковые части и на разведотдельском бронетранспортере мотался по дорогам Прикарпатья, Западной Украины, Польши, Германии; кстати, на этом же самом бронетранспортере мы ехали теперь в Геру.

И все же кое-что моя память удерживает до сих пор — и удерживает намертво.

Отчетливо, до деталей, помню ту поляну — в каком-то лесу на Витебщине под Демидовым, где мы остановились на подходе к передовой; всего лишь день назад выгрузилась из эшелонов наша Минбатарея. На поляне стояла большая сосна. И под ней, на бугорке, расположилась минометная батарея 120 мм. Немцы вели по лесу рассеянный огонь. «Погодите, ребята, еще успеете наклоняться», — поучал нас побывавший ранее на фронте комвзвода, когда мы прижимались к земле, услышав невдалеке очередной разрыв снаряда. Но это было до



Гвардии старшина Плимак.
25 июня 1945 года.

обеда. А во время обеда снаряд немецкого дальнобойного угодил прямо в сосну, показав нам, что в жизни существует смерть, а в жизни фронтовой — всегда рядом. А вместе с сосной снаряд срубил добрую треть еще не нюхавшей пороху нашей батареи, срубил вместе с умудренным фронтовым опытом комвзвода. И я никогда не забуду, как на том самом месте, с которого мы вдвоем с командиром моего миномета Колькой клали его, молоденького, всего год как из училища, на повозку (а это было уже после того, как комбат — плеткой и матом — согнал нас, разбежавшихся после взрыва снаряда по лесу), заблестела синеватая лужица. И еще я помню, что, когда мы с Колькой поднимали лейтенанта на повозку, я старался не смотреть на его живот.

Прекрасно помню до сих пор какой-то мостик в Прикарпатье — на нем в мартовский гололед 1944-го вынужден был притормозить шофер грузовичка, на котором я догонял 8-й мехкорпус. Грузовичок пошел юзом, сбил перила моста и завис на речкой одним из задних колес. Эта весенняя речушка весело, с рокотом бежала по каменистому дну, и лететь до этого дна мне бы пришлось метров 7—8, будь скорость у грузовичка чуть побольше.

А еще я запомнил накрепко небольшой двухэтажный дом в каком-то городке по дороге к Одеру, хотя многие дома в Германии двухэтажные и все каменные. Ночь тогда была такая светлая, лунная... И вдруг из крайнего правого окна дома на втором его этаже стал бить по нашей остановившейся в городке колонне немецкий пулемет, а по пулемету сразу же ударил из своего крупнокалиберного американского командир нашего бронетранспортера Митя Бовтрюк, ударил без промаха, и главное — его крупный калибр взял каменную стенку дома, немец замолк. Но обнаружил растерявшийся немецкий пулеметчик не только себя, но и какое-то наиважнейшее предназначение охраняемого им объекта — через дом шла, видимо, связь Восточного фронта Германии с Берлином! Дом со всем его гарнизоном разведчики наши взяли штурмом, все провода порвали, начальника объекта после допроса расстреляли — не везти же нам его с собой nach Berlin! А полным обрывом немецкой связи воспользовались: через сутки после этого случая, словно на параде каком и даже сами того не ведая, проследовали мощные колонны Т-34 1-й Гв. танковой — по открытому пустынному шоссе — через *спящие восточные укрепления* Германии; мы приближались, совершенно неожиданно для противника, к Одеру..

Но и эту бежавшую под колеса бронетранспортера великолепную, тоже без единой машины или человека, дорогу на Геру, с сосновым бором по бокам, — с востока уже пробивались лучи солнца, — я запомнил на всю жизнь. Запомнил не по причине пережитого здесь смер-

ельного страха. Мы ехали по «ничейной» и, главное, совершенно мирной теперь земле, нам не надо было выискивать тревожно в небе шовещие черточки «мессеров», не надо было — до боли в глазах — шлядываться в опушки лесков и окраины городков, к которым мы приближались.

Позади была война, впереди — вся жизнь, которую ты в свои двадцать лет узнал уже со страшной ее стороны и почти совсем еще не знал с других ее сторон. Жизнь манила неизвестностью — неизвестностью, из которой ушла постоянно присутствовавшая в ней смерть, ушла так далеко, что, казалось, ее вообще не было в жизни и не будет. И что греха таить — да, там в Кирххайне оставалась Лотта, но в тот час на этой влитой июньским солнцем мирной дороге в душе было только одно ощущение — ощущение полной безмятежности и пьянящего безмерного счастья...

Командиром нашего передового отряда был майор Никитин — офицер нашего разведбата, чуть похожий на татарина скуластый парень. Я не раз сталкивался с ним в разведотделе, когда ему ставили очередную боевую задачу. Задачи его были часто почти невыполнимые, или, точнее, трудновыполнимые, но выполнял их майор как надо и заработал пяток орденов, среди них два — Красного Знамени. А зарабатывать такие ордена было нелегко даже офицеру-разведчику, их не заработал даже начальник нашего разведотдела Андрееко, хотя чином был подполковник и немало поездил с разными боевыми заданиями.

Но майор Никитин, как я узнал из дорожного нашего с ним разговора, успешно зарабатывал не только ордена. Он вел счет своим подвигам и на другом — совсем не ратном поприще. И число его побед на этом поприще дошло к тому дню, когда мы въехали в Геру, до цифры — я ее помню совершенно точно: 71. Что в точности этой цифры не было оснований сомневаться, я убедился в тот же вечер, когда мы прибыли в Геру.

Кстати, цифра 71 — это же целая бесконечность по сравнению с моим пока 0, о котором я Никитину ничего не рассказывал по дороге в Геру.. Впрочем, это, видимо, не так — с нулем, или совсем не так...

Приказы выполняются в армии неукоснительно

Геру мы объездили довольно быстро, а потом расположились в гостинице, на площади. А еще через полчаса в мой номер, где мы перекусывали с майором (окна номера, как я помню, выходили на немецкую кирху), вошел, кланяясь угодливо, бургомистр Геры — лысоватый,

низенький человек лет пятидесяти пяти. Я перевел ему приказ майора Никитина: очистить к утру дома, которые мы облюбовали для отделов штаба, и особняки — специально для начальства; список адресов был при мне, и я передал его бургомистру. А когда бургомистр уже направлялся к двери, повторяя одну и ту же фразу: «Все будет в порядке», — майор остановил его жестом, подмигнул мне и вполголоса бросил: «Да, переведи ему еще: пусть пришлет вечером двух баб!».

Известно: в армии приказы командира не обсуждаются, а выполняются беспрекословно; размышлять можно только над тем, как их лучше выполнить. А кроме того, отдавая последний приказ, майор — воздадим ему должное — позаботился и о подчиненном. Я взглянул прямо на бургомистра, застывшего у двери, и перевел приказ майора точно, совершенно спокойно и даже не вполголоса — так, словно каждый день только и делал, что отдавал такие приказы. Звучал он по-немецки ясно: «Ja! Und lassen Sie am Abend zwei Mädchen kommen!». Слово «Mädchen» означает в немецком «девушка», затем «прислуга»; при прибавлении к нему еще двух слов: «für alle» («для всех») появляется третье его значение, которое нам предстояло увидеть во плоти в тот же вечер. В сем мире (я скептик и не знаю, есть ли мир «тот») подвижны, текучи все людские отношения, и слова только отражают все их переливы.

Бургомистр недаром изгибался перед нами и твердил «все будет в порядке!». Две женщины для нас обоих действительно появились в моем номере — вечером, часов в 9. Вели себя они по-разному. Одна, помоложе, брюнетка, с грубоватыми чертами лица, поздоровалась и, не дожидаясь приглашения, заняла место в кресле, с любопытством оглядываясь по сторонам. Другая, шатенка, поменьше ростом и помиловиднее, постарше, уселась, ничего не говоря — после моего приглашения, — на краешек дивана и уже больше не двигалась. Вид у нее был такой, что вот-вот она закричит и бросится прочь.

Я позвал майора из соседнего номера — весь второй этаж гостиницы занимали в тот вечер мы одни. Затем мы быстро накрыли на стол. Как и положено в армии, командовать, то есть выбирать, надлежало майору, и он выбрал шатенку, звали ее Анна. А потом он попытался начать, пользуясь моими услугами переводчика, с Анной разговор, который за полчаса-час должен хоть как-то сблизить мужчину и женщину, если они все же хотят остаться людьми, но так ими и не останутся, ибо им надо сделать то, что делают мужчина и женщина, долго знавшие друг друга, или же почувствовав сразу в сердцах влечение неодолимое — бывает и такое. И тогда все может быть сразу, и по-человечески, и по-людски...

Анна не села за стол и не поддержала разговора. Она так и осталась на краешке дивана, в отличие от своей спутницы, которая быстро перепробовала все на нашем небогатом столе, в особенности русскую водку (остальные блюда вроде американской тушенки, видимо, ей были знакомы). Просто отводить в свой номер и насиловать испуганную Анну майор не стал, к тому же он порядком выпил, и ему в общем-то стало все равно, с кем переспать ночь, шатенка или брюнетка будет значиться в его списке под № 72. Так мой далеко не блестящий немецкий язык перевесил майорский чин. Мы с Аппи остались вдвоем в моем номере, было уже поздно, да к тому же она поняла, что мне ничего от нее не нужно. Рассвет застал нас мирно беседующими, мы так и просидели на все том же диване всю ночь. И за ночь я узнал об Анне не все, но все же многое.

Она была беженкой из Берлина, где держалась до конца 43-го, работая в какой-то фирме, потом, когда бомбежки усилились, бежала с восьмилетней дочерью в Геру, где жили родственники. Никаких сбережений у Анны не было, муж пропал на Западном фронте в 44-м, а поскольку в переполненной Гере устроиться работать, или, выражаясь языком строгой политэкономической науки Маркса, продавать свою «рабочую силу» было некому, Анна стала — от случая к случаю — продавать себя, сначала добропорядочным бюргерам городка, потом американцам, которые оккупировали Геру. А вот теперь в Гере появились русские, и Анна была в моем номере.

Когда рассвело и Анна собиралась уходить, я задержал ее у двери, взял свою полевую сумку, вынул из нее пачку купюр — это были немецкие марки — и протянул их Анне.

Поскольку в моем рассказе появились деньги, сыгравшие в моей жизни, как и в истории всего человечества, такую громадную роль, я должен объяснить, откуда и почему в моей полевой сумке появилась солидная сумма денег.

Ценный совет Сан Саныча

Дело нехитрое.

Где-то в марте-апреле 45-го, когда мехкорпус наш приближался к Берлину, предусмотрительный и дальновидный Сан Саныч посоветовал мне не выбрасывать, как мы обычно с ним делали при допросах, те марки, которые извлекались из карманов военнопленных вместе с солдатскими книжками, трогательными письмами их владельцев женам и очень часто — просто великолепными по качеству порногра-

фическими открытками явно централизованного производства (в Третьем Рейхе была прекрасная полиграфия!). Стоявшие перед нами пленные обычно начинали как-то странно переминаться с ноги на ногу, когда мы эти открытки внимательно изучали с Сан Санычем — с гораздо большим интересом, чем поднадоевшие солдатские книжки.

Так вот эти самые марки раньше были просто хламом и для пленных, и для нас — хлам мы преспокойно выбрасывали. Но на территории Германии немецкие марки перестали быть хламом. Они по-прежнему не нужны были нашим пленным, но нам могли уже пригодиться. И я внял совету Сан Саныча, хотя в общем-то плохо представлял, что такое «das Kapital» и для каких целей его можно употребить, — а в Кирххайне мне было вообще не до немецких марок. И вот первое употребление накопленного мной таким образом капитала (как видите, и в моей жизни было свое «первоначальное накопление») произошло в то раннее июньское утро в Гере, когда мы с Анной стояли у двери, которую она собиралась открыть. Я, как уже писал выше, вытащил из сумки пачку купюр и протянул ей.

«А это еще за что?» — довольно резко спросила у меня Anni, привыкшая к несколько иного рода сделкам. Я пожал плечами и ничего не ответил. Анна внимательно меня разглядывала. Потом она засмеялась. А потом поцеловала меня, но совсем не так, как целовала Лотта. А потом уже спокойно спрятала в свою сумочку солидную сумму марок, открыла дверь и ушла. За один поцелуй такую сумму!.. Надо же!

Было еще рано, можно было соснуть часок-другой. Но спать мне почему-то не хотелось, хотя я не спал вторую ночь подряд. А днем в 17.00 в Геру втянулась штабная колонна, и за неделю все встало на свои места. За эту неделю я здорово отоспался и был не только морально — морально, как значится во всех моих характеристиках (за исключением одной все же), я был непрестанно «устойчив», — а вот теперь и физически подготовлен ко всему тому, что со мною случилось потом.

Anni

По делам служебно-армейским мне много приходилось бегать по Гере. Здесь тоже была своя главная улица — как в Кирххайне, но примыкавшие к ней потайные улочки и переулки шли не прямо, как там, а изгибались змейками, сбегали вверх и вниз по холмам, — ведь это все же была горная Земля Германии, Тюрингия...

Гера, действительно, оказалась чуть побольше Кирххайна, но все же это был маленький немецкий городок, и не так уж удивительно, что

через неделю после памятного въезда нашего передового отряда в Геру я столкнулся на какой-то улочке лицом к лицу с Анной. Это была встреча добрых знакомых, я проводил Анну до подъезда дома, где она жила.

«К себе не приглашаю, — сказала она. — Живу у родственников, те и так меня еле терпят. Да и дочь дома». А потом, посмотрев на меня с чуть заметной усмешкой — она взяла в обычай с того памятного утра чуть насмешливо-тепло глядеть на меня, — добавила: «А может, у тебя в Гере есть не только капитал, но и свой особняк? Я бы пришла к тебе в гости...».

Особняка в Гере у меня, естественно, не было, таковой в нашем разведотделе имел только Андреяко. Но был прекрасный ясный месяц — июль 1945-го. И мне стукнуло совсем недавно двадцать. За моими плечами было два года войны, и я пережил многое из того, что переживали на фронте солдаты и офицеры. Но вот «военных романов» у меня не было — то ли чин мой был мал, то ли, скорее всего, сам я был с женщинами слишком робок. Правда, в Кирххайне была Лотта, она ждала моих писем. Но я хотел знать «это». А женщиной Анна была привлекательной...

И особняк у меня появился. Я реквизировал его на какой-то отдаленной от штаба улочке в тот же день — каюсь! — для разведывательных нужд командования.

Впрочем, не буду преувеличивать. Целый особняк был мне вовсе ни к чему. Хватило одной комнаты с отдельным входом, и у этого входа на следующий день, когда уже смеркалось, я ждал Анну, и она пришла в нарядном, в крупную клетку платье, это была совсем другая, чем в тот вечер, в гостинице, женщина, и несколько даже навеселе. И мы сидели за столом, теперь уже не вчетвером, а вдвоем. И к великому моему ужасу, разговор у нас не клеился... Да и наговорились мы тогда, на прошлой неделе, вполне достаточно, в первую мою с Анной ночь. И все было для меня ясно. Все, кроме того, как от нелепых, в общем, моих слов перейти к делу.

И в конце концов не отпускавшее весь тот вечер душу мое отчаянное волнение Анне просто надоело. «Неужели все русские медведи такие вот робкие?» — довольно зло сказала она, но не ушла, возмущенная, как я в испуге ожидал, а поступила как раз наоборот. После оскорбительных своих слов она встала и просто погасила в комнате свет! Так для иного просвещения, как оказалось, нужна была тьма! В темноте я услышал, как Анна раздевалась...

И если какой-нибудь святоша — я говорю не об истинных священнослужителях, которые простят мне все мои грехи, ибо сами грешны, — если какой-либо святоша сочтет мой рассказ безнравственным,

непристойным, то я просто отвечаю: на Земле этой, видно, все от Бога, да и всем людям нужна ПРАВДА. А в моем случае правда была только в том, что мы вместе с Анной прожили в той комнате, встречаясь по вечерам, недели три, и никто, кроме Неба, наш союз не регистрировал. Но хотя это и так, разве в этом дело? За три недели я стал для Анны человеком, которому она многое объяснила, много еще о себе рассказала. И в ее жизни была, оказывается, первая любовь, когда ей с милым было хорошо («so einfach» — так вот просто), как мне с Лоттой. Был затем и нелюбимый муж, лет на пятнадцать старше ее, который грубо взял ее после той, так ничем и не завершившейся первой любви. А в наших отношениях с Анной было для нее что-то свое, важное, наверно, не только для меня, но и для нее самой...

В конце июля Анна получила из Берлина письмо от соседки по квартире. Дом Анны уцелел во время боев за Берлин, и она решила вернуться домой — ее отношения с родственниками в Гере испортились окончательно... Жить ей в Гере было негде. Я посадил Анну с дочкой на нашу военную попутную машину, шедшую в Берлин.

«С год вполне продержусь, — сказала она, прощаясь. — А там надо начинать какую-то новую жизнь...».

Я не возражал — Анна была права. Женщины всегда правы, это я вам уже как мужчина говорю...

72:1. Визит к доктору Бауэру

Обязанности военного переводчика в гарнизоне городка Геры были не столь сложны, сколь разнообразны. И где-то в начале августа, уже после того как Анна отбыла в Берлин, мне пришлось зайти вместе с майором Никитиным, хмурым в тот хмурый и дождливый августовский день, в другой дом, на той же самой улочке, где мы прожили с Анной три недели. Табличку на дверях этого другого дома я узрел еще в тот день, когда снимал «особняк» для нас с Анной на расположенной подалее от штаба улочке. На табличке значилось: «Доктор Бауэр. Прием больных с 11 до 17 часов, кроме воскресенья».

Седой старик в золотых очках, осмотревший на своем веку Бог знает сколько пациентов и переслушавший Бог знает сколько историй болезней, совсем недолго осматривал Никитина.

«Ничего для господина офицера сделать не могу, — сказал он. — Все это слишком серьезно. Да к тому же лечиться надо долго, а лекарств нужных у меня нет, сами знаете, война была. Господину офицеру надо срочно обратиться к своим врачам».

Через два дня майора Никитина откомандировали из нашего разведбата, больше я его в жизни никогда не встречал.

В страхе и смятении — ведь я шел уже по дорожке Никитина! — я провел несколько недель. Потом успокоился и все, конечно, позабыл... Так вот прошел сентябрь, октябрь, и вот тут я получил вызов в Берлин, в СВАГ — Советскую военную администрацию в Германии. На разведбатовском мотоцикле я добрался со своими нехитрыми пожитками до Лейпцига, откуда поезда ходили в Берлин, и занял место в купе в офицерском вагоне — поезд был почти пустой. И в один из ноябрьских вечеров — вроде бы так — я стоял в коридоре вагона и смотрел снова на бегущий мимо сосновый бор, вернее на тени деревьев, ибо время было уже позднее. В полевой сумке моей лежало предписание — явиться в СВАГ, в распоряжение капитана Соколова. Для каких целей я должен был к нему явиться — я не знал, об этом знало только одно командование. Не знало всезнающее командование лишь одного — что в Кирххайне, к которому приближался поезд, жила Шарлотта Шульце, она же Лотта, она же deine Lotti...

Визит на Моргенштрассе, 14

Поезд уже замедлял ход, приближаясь к станции, что была километрах в двух от самого Кирххайна, а я так и застыл у окна вагона, не зная — сойду здесь или нет. В уме спутались все мысли, в душе — все чувства; ведь я так и не отправил Лотте ни одного письма из Геры, хотя обещал перед отъездом из Кирххайна писать и хотя почта в Германии работала уже превосходно. Продолжал стоять я у окна, когда поезд стоял у перрона, совершенно безлюдного в тот поздний вечер. И лишь когда паровоз дал свисток и дрогнули вагоны, я спохватился, бросился в свое купе, схватил шинель, фуражку, полевую сумку и спрыгнул с подножки набиравшего скорость поезда — к величайшему негодованию какого-то станционного чиновника. Впрочем, он успокоился довольно быстро, узрев, что перед ним не соотечественник, а вооруженный русский солдат. О том, что понятия «Ordnung» и «Deutschland» («Порядок» и «Германия») находятся в несколько ином соотношении, чем «Ordnung» und «Russland» («Порядок» и «Россия»), он, по всей видимости, знал вполне.

...Когда я дошел до Кирххайна, совсем уже стемнело, и состояние мое было преотвратное, как тогда — у немецкой танковой колонны. Но в доме Шарлотты горел свет; они с отцом обитали на втором этаже. И я снова пошел навстречу неизвестности — впервые постучал в парад-

ную дверь дома Лотты. И сказал ее отцу те же самые слова, что сказал и немецкому офицеру в штабном грузовичке, — но уже без тени иронии: «Guten Abend», хотя ночь уже на дворе стояла. При жизни моей в Кирххайне мы с Лоттой всегда пользовались дверями черного хода и через дворик просто убегали куда подальше — в домик Клары, а чаще — в чистое поле. Отец Лотты, ничего не сказав в ответ, впустил меня в дом, я поднялся на второй этаж.

Нет, это не была для меня радостная встреча, хотя Шарлотта обрадовалась моему внезапному появлению и радости от отца не скрывала — добрые, видимо, отношения между ними были. Но уже и его присутствие — а меня усадили за стол и кормили каким-то супом с картофелиной вприкуску — сковывало нас с Шарлоттой. И, я думаю, к лучшему: мне не пришлось объяснять ей, почему я столько месяцев молчал, хотя в ночь расставания нашего я клялся ей писать. Глядя на меня, Лотта без всяких моих слов все поняла — у женщин есть какое-то шестое чувство понимания, в дополнение к пяти нашим, мужским, да и вид мой был совсем не бравый...

В полночь Шарлотта накинула себе на плечи не то плед, не то пальто и отвела меня в какую-то крохотную нетопленную комнату — видимо, для гостей. Там стояла широкая кровать с пуховой периной вместо одеяла. Я быстро разделся и юркнул под перину — мы ни о чем не говорили. Молча, минут пять, Лотта сидела рядом со мной, потом ушла. Отец был рядом? Не в нем, конечно, было дело...

Ранним-ранним утром из той же парадной двери мы с Лоттой вышли на улицу — мне надо было успеть на утренний берлинский поезд. Был месяц ноябрь, не время бродить по полям, да и ни к чему. Мы дошли — рука об руку — до станции. Я простился с Lotti и сел на подошедший поезд. Набирая скорость, поезд уходил в сторону Берлина. А в кармане у меня лежала записная книжка, в которой было два берлинских адреса. Один — тетушки Lotti, через нее я обещал поддерживать связь с Кирххайном, переправлять письма для Лотты, теперь уже регулярно. Второй был адрес... Anni.

В сердечной смуте, которая разъедала меня тогда, я как-то сумел разобраться, представьте себе, только через четверть века, когда я наконец удосужился прочитать роман Достоевского «Идиот». Только тогда я понял, что в 45-м — начале 46-го я находился в положении князя Мышкина, который метался между Настасьей Филипповной и Аглаей Ивановной и, дометавшись, снова был препровожден в Швейцарию, в известное заведение психиатра Шнейдера, откуда ранее и прибыл в Россию. Про меня — тогда, когда я сидел один в купе, расставшись с Лоттой, — можно было вполне сказать то, что сказал

в конце своего романа Достоевский: «И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика, то и он, припомнив то состояние, в котором был князь в первый год своего лечения в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: “Идиот!”». И только потому, что меня в 43—45-м лечили на фронте командиром почище Шнейдера — лечили от всякого рода психических и нервных травм, — в психолечебницу меня вовсе направлять не было нужды.

Вы помните, комполка 973-го приглашал разведчиков «весело повоевать», позволял, иными словами, некую «вольность» на фронте. Но вопрос тут в «мере» — не нарушал ли я ее?..

Мое появление в Политдиректорате Контрольного совета

Советская военная администрация в Германии (СВАГ), где я начал работать с нашими союзниками с ноября 1945-го и проработал почти три года, — это целый особый мир, со своими порядками, обычаями, нравами, и разговор о СВАГе надо вести долгий и особый. Я расскажу только о том, как мне пришлось поработать в одном из его главных органов — четырехстороннем Контрольном совете, *формально* правившем оккупированной Германией, а когда одной поверженной страной *правят* сразу четыре «объединенные вместе» державы, то получается дело не особенно гладко. А еще мне придется описать, как обрывались мои связи с немецким миром, окружавшим Карлсхорст. Карлсхорст — это тот совершенно не тронутый войной район Берлина в советской зоне, где и размещалась СВАГ (Германия была тогда размежевана на четыре зоны: советскую, американскую, британскую, французскую, как, впрочем, и ее столица — Берлин; в нем были те же четыре сектора — в своих зонах и секторах каждая из четырех сторон правила уже *фактически*).

В Берлин, надо вам сказать, я попал вроде бы не случайно, опять-таки благодаря моей наглости, любви к иностранным языкам и поэзии, но на сей раз это был английский язык, который, сразу же вам скажу, вовсе не стал мне вполне доступным. Я могу довольно свободно читать по-английски, переводить с английского, но вот с разговорным английским, несмотря на трехлетнюю работу в Контрольном совете, я не совсем лажу. Четвертым, французским, языком я было пытался овладеть в том же Контрольном совете, но в общем-то не овладел. Понимаю, о чем идет речь в том или ином тексте, могу читать литературу по

специальности, переводил разные стихи с французского (как, впрочем, с немецкого и английского) — но о стихах к концу воспоминаний. Разговорным французским не владею совершенно. Вернусь ненадолго к моему английскому..

Еще в середине 1944-го, пребывая в составе разведотдела воевавшего мехкорпуса, я отправил в Москву заявление о приеме меня, фронтовика, на Заочные курсы все того же «Ин-яза», который заложил в меня основы знания языка немецкого. А вот теперь я просил принять меня на английское отделение. Между боевыми нашими операциями — их у нас было с конца 44-го с пяток — мы пребывали на формированиях: получали новую технику взамен разбитой в боях и новые экипажи для танков, взамен сгоревших или подбитых. Длелись формирования месяц-полтора, когда давали нам возможность пожить мирной жизнью; делать в разведотделе было решительно нечего, разве что пить. И я благополучно «проработал» к концу Великой Отечественной 36 тетрадок лекций, отправляя выполненные задания в Москву, где их и проверяли. В лекциях со второго их курса пошли помимо рассказов разных коротенькие стихи, которые меня особенно интересовали и которые я тут же старался перевести. И притом, абсолютно не владея английской разговорной речью, ибо овладеть ей заочно невозможно — я все-таки написал в одной из бесчисленных заполненных мною в советской жизни анкет, в графе «знание языков», немецкий, *английский*, не уточняя в последнем случае, что это были за «знания», благо составитель вопросов анкеты об этом и не спрашивал... Какими путями — пути армейские, как и господни, неисповедимы — попала анкета с моими данными в руки капитана Соколова, я не знаю. Он-то и подбирал кадры в Берлине в «Аппарат политсоветника»; было в Карлсхорсте такое заведение, ставшее вскоре «Управлением политсоветника», чем-то вроде военно-дипломатического представительства. В нем было полно вновь «напеченных» в Москве дипломатов в их мышинных мундирах — тогда была манера всех одевать в мундиры (коиными их владельцы, работники дипломатической службы, очень гордились). Управлял «Аппаратом Политсоветника» Владимир Семенов, впоследствии советский посол в ГДР, на погонах у него была уже маршальская звезда, а его первым Заом был Николай Васильевич Иванов, на генеральских погонах которого было две звезды чуть поменьше, уже генеральские, — я тогда все переводил на воинский лад. По своей изворотливости в делах союзническо-дипломатических Николай Васильевич был прямо-таки ни с кем не сравним, разве что с майором Глыбовским в делах военно-разведотдельских. Под непосредственным руководством Николая Васильевича, который был советским представителем в Политдиректорате,

мне и пришлось в основном поработать в Берлине, в Контрольном совете. Но это, естественно, случилось не сразу, хотя по должностной лестнице, надо вам сказать, я пошел вверх в Аппарате (затем Управлении) политсоветника очень быстро — мои разведотдельские таланты здесь оценили.

Но пока же — через сутки после своего визита в Кирххайн — я сидел в Аппарате политсоветника в служебном кабинете капитана Соколова. Тот усадил меня, и я, вытянувшись в струнку, давал ему все отсутствовавшие в моей анкете сведения, ибо все же для какой-то работы вызвали меня в Карлсхорст. А вообще, скажу я вам, Аппарат, затем Управление политсоветника — это место повыше штаба корпуса, армии, даже фронта, и никаких тебе кровавых боев за три года, что я здесь пробыл, хотя вот схваток с союзниками было немало. С американцами мы в общем-то дружили, с англичанами — больше спорили, французы были не в счет — еще слишком слабы, а вот все решения Контрольного совета, его директоратов и комитетов обязательно должны были быть согласованы, приняты и подписаны всеми четырьмя сторонами. По очереди, через месяц, каждая из сторон становилась руководящей и назначала заседания, все эти смены правления отмечались приемами а ля фуршет — пикниками с выездом на озера во время председательствования нашей стороны, где всюду развертывалась разведработа. Наш Аппарат политсоветника наполовину состоял из работников, которые ходили в гражданском и весьма походили на разведчиков, занимая половину кабинетов нашего здания. Обе половины здания почти не общались друг с другом — хотя часть людей в штатском числилась все же за Политдиректоратом, был даже Зам Николая Васильевича, который всю работу нам портил (об этом позже). Союзники от нас в этом отношении не отличались — Контрольный совет был примерно с начала 1947 года напичкан работниками их спецслужб, это было еще и учреждение для *самых разнообразных контактов*.

«Ну да ладно, — сказал, выслушав меня, как-то расположенный ко мне капитан Соколов, — не Боги горшки обжигают. Потрудишься поначалу в Религиозном комитете (Бог мой! — что я знал в те годы о религии?), с американцами, англичанами, французами пообщаешься, сразу на четырех языках мира заговоришь, если своего русского да и немецкого не забудешь. А я для приобщения тебя к английскому приемник для тебя достану, слушай регулярно лекции Би-би-си, они тебе разговорный язык поставят».

Так и получилось — к зиме я уже разговаривал на каком-то варварском английском с моими коллегами — секретарями Религиозного ко-

митета, следил за правильностью отражения мнения нашей делегации в каждом из четырехсторонних документов, и капитана Соколова не подвел — как тогда девушку старшего лейтенанта из штаба стрелковой армии, которая и сделала из меня военного переводчика. Переводчиков английского и французского мне в помощь не давали — таких кадров в Карлсхорсте первое время было мало, хотя их усиленно готовили в Москве. В начале 1948 года ко мне, секретарю Политдиректората, сразу прибыли две переводчицы — Маша и Шура, первая стала верной спутницей всей моей жизни, золотую свадьбу мы с ней лет пять уже как отпраздновали. Но, впрочем, до этого мне пришлось порвать с моими немецкими связями...

Первое прощание

Зима 1945/46-го выдалась для берлинцев тяжкою. Стояли сильные морозы, топлива у них практически не было, многие дома были вообще разбиты, другие — сильно повреждены во время взятия Берлина нашими войсками. И вот где-то в декабре или январе я все чаще стал думать об Анне с ее дочерью, хотя письма Лотте отправлял уже регулярно.

Нам, сотрудникам Аппарата политсоветника СВАГ, разрешалось держать прислугу из берлинок, и все зависело от того, на какой стороне улицы проживала Анна с дочкой, где стоял ее дом. Ибо как раз по этой улице и проходила граница между французским и советским секторами Берлина (потом на этой улице, как и на других, будет возведена знаменитая на весь мир Берлинская стена).

Если Анна жила на французской стороне, ничего сделать для нее с дочерью я не мог. Если же дом стоял на стороне советской — оформить Анну ко мне прислугой не представляло большого труда, в комендатуре Карлсхорста у меня работал приятель, а прислуге, мы их все звали «немками», кое-что перепало от нас, сотрудников СВАГа. Были бы у Анны и брикеты угля, и кое-какое продовольствие — снабжали нас в СВАГе неплохо.

И вот в один из выходных дней я появился на улице, где жила Анна, и разыскал дом № 11. Он уцелел — один из немногих на этой улице. Но стоял дом... на французской стороне. Да и казался почти безлюдным. Окна многих квартир зияли пустотой — в них не было ни рам, ни стекол. Некоторые окна были, правда, забиты фанерой или картоном. Входная дверь была перекошена — сорвана с нижней петли и болталась по ветру.

Я все же поднялся на четвертый этаж, разыскал квартиру Анны, постучал в дверь. Меня впустили, и я увидел в полутьме у печурки несколько закутанных в тряпье фигур — женщин и детей. Но Анну среди них не разглядел... Она сама поднялась мне навстречу, стала в смятении говорить что-то остальным об офицере (я носил еще тогда свою старшинскую форму), который помог ей выехать из Геры. Я понял, что надо уходить, Анна вышла со мной на лестничную площадку.

И вот здесь впервые я услышал от нее слова любви. «Не надо, милый, не надо, милый, не ходи, — молила она, прильнув к моей шине. — Муж жив, объявился в Гамбурге, скоро вернется, не надо, не ходи...».

Бывает же такое вот в жизни. Анна сама пришла и отдалась мне тогда в Гере. Но свою душу она отдала мне только здесь, в Берлине, на лестничной клетке, при прощании, где тоже были выбиты все стекла, и мел холодный зимний ветер со снегом, а наверху торчала какая-то черная балка.

Внизу, видимо от порыва ветра, гулко хлопнула дверь. Анна вздрогнула и отпрянула от меня. Навсегда...

А через два года состоялось мое второе прощание уже с Лоттой, в том же Берлине. Оно было более сложным, и о нем я расскажу в подбавляющем месте. А пока вернемся в Аппарат политсоветника, вернее, в городок Карлсхорст, где я проживал и куда я отправился после моего расставания с Anni...

Немного о Политдиректорате и союзных секретарях

О своей работе в Религиозном комитете Контрольного совета, куда меня поначалу определили, рассказывать мне почти нечего — интересно в ней было мало, да и проработал я там всего несколько месяцев, потом Николай Васильевич назначил меня секретарем Политического директората, там поинтересней была работа, случались и происшествия разные.

Вообще говоря, Политический директорат был неким «мозговым трестом» всего Контрольного совета, сюда стекались все нерешенные общие вопросы, которые возникали на четырехсторонних переговорах на инстанции высшей — самом Контрольном совете, где заседали уже Главноначальствующие, но договориться с первого раза им редко удавалось. Если с американской стороны советская сторона дружила, то с британской все больше спорила, а пока единство не достигалось —

принять какое-либо решение, постановление или закон какой для всей Германии было невозможно. И вот для нахождения компромисса вопрос «спускали» в Политический директорат — благо здесь советская сторона через Управление политсоветника была связана непосредственно с Москвой — МИДом и с тем, кто еще ПОВЫШЕ. Обращаться в эти инстанции приходилось частенько, ибо в Политдиректорате три стороны — Британская, Американская, Французская — почти всегда сплоченно противостояли Советской стороне, и нашему представителю в Политдиректорате приходилось прилагать немалые усилия и изворотливость, чтобы достичь хоть какого-то компромисса, чего Николай Васильевич, очень напоминавший мне майора Глыбовского, нередко добивался, несмотря на «дубовую», теперь об этом можно прямо сказать, позицию МИДа или САМОГО.

Говорили представители всех четырех сторон очень много, соглашались редко, но даже когда советская сторона уступала остальным, все согласованное снова начинало пониматься по-разному, но уже на уровне Секретариата, где и вырабатывался четырьмя секретарями согласованный ДОКУМЕНТ. И важно было то, как все наговоренное и согласованное на самом Директорате в ДОКУМЕНТЕ будет выглядеть.

Так вот Николай Васильевич, представитель советской стороны в Политдиректорате, попробовал подержать на секретарской должности сначала одного, затем другого дипломата из присланных Москвой, затем даже самого капитана Соколова. Но ни у первых двух, ни у капитана что-то с оформлением ДОКУМЕНТА не клеилось.

Повторюсь, но очень это важный момент — все ДОКУМЕНТЫ изготовляли четыре секретаря, каждый что-то записывал у себя в блокноте, сидя за квадратным четырехсторонним столом рядом с представителем своей стороны, чтобы лучше слышать и видеть — как идет обсуждение той или другой проблемы. Но вот с выработкой ДОКУМЕНТА, на основе записанного, ни у выбранных Николаем Васильевичем дипломатов, ни у капитана Соколова что-то никак не получалось — трое других секретарей их явно переигрывали, формулировки принимали выгодный для остальных трех сторон вид. Секретари-дипломаты носили майорские звезды на отливающих серебром погонах. Имели они и полученное в дни войны высшее дипломатическое, т. е. соответствующее своим погонам образование, знали прекрасно, как действовал Талейран на Венском конгрессе, и даже о том, как он тайком столкновывался с Меттернихом и Кэстльри на сепаратных переговорах. Но что-то их знания в Берлине при составлении ДОКУМЕНТА мало помогали, получалось все как-то не так. Капитан Соколов великолепно владел французским, знал и английский, был он вроде из дво-

рянской даже семьи, где весьма заботились и о его образовании, и его воспитании. Но вот прекрасное воспитание его и подвело — он никак не мог перечить своим коллегам, а тем более — надувать их. Коллеги-секретари были воспитаннейшие и по-европейски цивилизованные люди! И тогда Николай Васильевич рискнул — как это часто бывало в поганых ситуациях на фронте — бросить в уязвимое место, где мы постоянно терпели поражение и явно брал верх противник, войсковую разведку, то есть меня!

И я стал секретарем Политического директората со своим тогда еще девятиклассным образованием, со всеми своими справками с заочных курсов «Ин-яз», стал им, ничего не ведая ни о Меттернихе, ни о Кэстльри, ни о Талейране. И пошли у меня дела — я, видимо, не зря учился у майора Глыбовского — разгадывать замыслы противника и, особенно, надувать его. Мое серьезное обучение в разведотделе 8-го Гв. Мехкорпуса работе с документами началось с того, что я освоил валяющуюся у нас без дела машинку (машинистку на смену убитой на Украине нам так и не прислали), и поначалу майор просто диктовал мне очередные разведдонесения, потом я уже и сам творил этот ДОКУМЕНТ — по его наводкам и при его проверке, хотя шел он наверх даже не за подписью Андряко, а самого Воронченко. Но какая разница, кем изготовлен ДОКУМЕНТ, — лишь бы в дело годился и бережно хранился, вот с последним у меня было всегда плохо. Фишер Сан Саныч здесь был бы на месте. Хотя, впрочем, не уверен я, чтобы он сработал хорошо в критических ситуациях на Секретариате — наглостью он никак не отличался, был также прекрасно воспитан и не имел никакой тяги к разведделам...

Став секретарем Политдиректората, я, ни у кого не спрашивая, вскоре скинул свою военную старшинскую форму, что из американского добротного сукна сшита была, переменял ее на гражданский костюм. Кстати, в американской армии, в отличие от нашей, и у солдат, и у генералов *одна и та же* форма, никаких тебе генеральских золотых погон и красных лампасов, отличны друг от друга только одни знаки различия (я не говорю о нынешней, вполне достойной боевой обстановки военно-полевой форме в Советской армии).

Моими коллегами в Секретариате Политического директората в 1947 г. были Скривинер, англичанин, с которым я постоянно вступал в споры, Чейз, американец, с которым я подружился, и мадам Кроше, француженка, которая, как и полагается француженке, думала не столько о протоколах, сколько о нарядах разных и любви, ввиду чего ее и убрала вскоре французская сторона, заменив на мсье Дюваля, который умел думать и о том, и о другом, и о третьем.



Секретари Политдиректората Контрольного совета
(снимал американский секретарь). Весна 1946 года.

«Союзные» секретари, в меру сил своих и способностей, старались, чтобы в протоколах директората присутствовали выгодные им формулировки, я тоже не терялся и мог, ничуть не краснея, заявлять, что надо верить моей подделанной записи, а не их собственным записям. Но вообще должен вам заметить, что такое случалось редко, обычно тогда, когда сам Николай Васильевич по тем или другим причинам не руководил нашей стороной, а его замещал некто другой, вроде бы его Зам, работавший тоже в Управлении политсоветника, но на той его стороне, где дипломатических мундиров не носили, а все в гражданском ходили, и куда мы никогда не заглядывали... Спорить в этих случаях — когда вели наше дело свои, но мало знакомые с ним люди — мне приходилось больше всего со Скривинером. Он никак не мог понять, что если у меня и маловато совести, то все же в душе горит зажженное еще в Отечественную пламя патриотизма. От моей наглости Скривинер выходил из себя и что-то начинал кричать — чего я вообще не понимал, в силу своих слабых познаний в английском разговорном, и, не понимая его, начинал смеяться над своим нелепым положением, конечно. Но Скривинеру казалось, что смеюсь я над ним, и он, крас-

ный как рак, выкрикивал уже нечто такое, от чего краснел даже сдержанный мистер Чейз! Расскажу об одном таком некрасивом случае, точнее, поведении моем на Секретариате совершенно недостойном.

Вопрос о передаче в союзное ведение главной радиостанции Германии

При взятии Берлина нам досталась целая-целехонька радиостанция мощнейшая, главная у немцев, вещавшая на всю Германию. Достаться-то досталась, но в Американском секторе осталась, там, где и стояла. И вот подняли наши союзники в Политдиректорате вопрос об установлении четырехстороннего контроля над станцией — не все же немцам одни только наши байки слушать... Законное требование? Да! Но не для того, САМОГО, что в Кремле сидел.

И вот на двух заседаниях Директората Николай Васильевич нудно так возражал другим председателям трех делегаций и все ждал окончательных инструкций из Москвы, кои никак не поступали нам в шифровалку Управления политсоветника. На третье заседание, посвященное все тому же вопросу, Николай Васильевич вообще не поехал, послал своего Зама — с той, другой стороны нашего здания, где все в штатском ходили. И этот Зам несмотря на все мои старания помочь ему на заседании, сказал Yes! — в ответ на требования остальных трех сторон, и это безо всякой там инструкции из Москвы!

И вот пришлось мне на заседании Секретариата доказывать, что его Yes! (Да) означало No! (Нет)... Тут уж не только Скривинер вскипел, но два других секретаря на меня обрушились. Но я твердо стоял на «Нет», и все дело вернулось на четвертое заседание Директората.

Однако присутствовавший на четвертом заседании Николай Васильевич, несмотря на формальный протест английской стороны о моем недостойном поведении на Секретариате, все в шутку обратил. Коллеги, сказал он очень мило, ведь я на прошлом заседании не был, ничего не знаю, что там на Секретариате случилось (я его детально обо всем проинформировал). Давайте проблему заново решать... А приказ из Москвы пришел строжайший: радиостанцию под четырехсторонний контроль не передавать! Ни-ни и ни в коем случае — приказ САМОГО. И началась прежняя канитель, и американцам все это надоело. Плевать они хотели на приказы САМОГО, что в Москве ХАМИЛ...

Американцы поступили в конце концов просто — окружили нашу радиостанцию своими войсками и прервали все ее коммуникации с внеш-

ним миром: если хотите выйти — пожалуйста, но вот обратно — ни в коем случае, Так что и мой дипломатический обман оказался в данной ситуации ни к чему... А поскольку вертолетов в те годы еще не было, пришлось нам мощнейшую радиостанцию просто бросить.

Кстати, после провала всего дела и даже протеста со стороны английской стороны по поводу моего недостойного поведения Николай Васильевич от работы меня не отстранил — в отличие от незадачливых моих предшественников. Как видите, я начал откровенно прихвастывать, но, ей-богу, это по необходимости. Мне вскоре придется объяснять, как и почему Николай Васильевич отвел от меня удар тогда, зимой 47—48-го на закрытом партийном собрании в Управлении политсоветника. На том собрании докладывал парторг Управления Кузнецов, присланный ЦК специально для слежки за всеми нами — ибо стало Управление наше очень важным в делах всей нашей зоны и Контрольного совета. Но перед тем как перейти к рассказу о делах внутри нашего Управления, скажу пару слов о внешних функциях тех его сотрудников, что в дипломатических мундирах не ходили, а гражданское платье носили, в нем удобнее было им свое ДЕЛО делать.

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке

На Политическом директорате, как и на других, впрочем, каждый месяц сменялась председательствующая сторона, и это событие отмечалось торжественно — очередным а-ля фуршетом, попойкой, говоря по-русски, а у нас иногда — даже с выездом на лоно природы, на какие-то озера, что были невдалеке. Один из таких выездов мне особенно запомнился, ибо на мою жизнь влияние оказал.

Два работника советской стороны, впрочем, в Контрольный совет вообще не ездившие, уединились тогда с моим коллегой Скривинером и несколькими бутылками коньяка на одной из наших лодок, приготовленных советской стороной для отдыха коллег (и некоторых других операций), катались часа полтора-два и доставили назад Скривинера в состоянии почти полного опьянения. Порядком перебрав, Скривинер точно последовал русской поговорке: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Увидев меня, он бросился ко мне с объятиями и стал выражать свое мне расположение, как разведчик разведчику! «My dear! (Мой дорогой!). Почему мы в Интеллидженс Сервис во время войны (Бог ты мой!) посылали вам, русским, все необходимые данные, а от вас ничего не получали?». Кое-как я отлепил от себя Скривинера, поясняя

во всеуслышание, что я был войсковым разведчиком все время войны... Действительно, что я мог тогда знать про дела ведомства Берии?

Никто не спрашивал у меня разъяснений об этой сцене или моих отношениях с союзными секретарями (мы все же уединялись с ними в Контрольном совете в отдельной комнате). Но возглас Скривинера «My dear!» был таким непосредственным, содержал столько сердечных ноток, что я в тот же момент понял: не отлепятся теперь те, что из СМЕРШа или откуда еще, от меня, отныне жить мне в Берлине под «колпаком». Когда ты живешь под «колпаком», о тебе все знают, все и вся, и это совсем не то состояние, когда ты под «колпаком» не находишься и когда о тебе толком никто ничего не знает. Но пока никто мне особого внимания не уделял и я продолжал вести себя так, как и раньше. Но чувствовал нутром: надо из Берлина ноги уносить, добром это все не кончится...

Визит на виллу Чейза

Если наш СМЕРШ — или кто еще там — мною вроде бы не интересовались после случая со Скривинером, то почему-то этим случаем заинтересовалась американская контрразведка.

Поскольку дела эти давние, расскажу вам один эпизод из моей секретарской жизни, за который мне тогда бы в Берлине не поздоровилось, узнай про него мое начальство. Через пару недель после происшествия со Скривинером мы как-то вместе с Чейзом вышли из здания Контрольного совета, и он сказал мне: «Слушай, my dear, поедем на часок ко мне, лимузин при мне, выпьем что-нибудь, да и поговорим». Оглянувшись по сторонам — вокруг нас никого не было, — я ответил согласием: «Agree!» — и через минуту сидел в роскошном лимузине Чейза.

Вилла, куда он меня привез, не была, клянусь вам, предметом чьего-либо обитания. Маленький уютный коттедж располагался на берегу приятного озера. В коттедже не было и намека на наличие спальных комнат, никакой obsługi, а обширный кабинет украшал прекрасный бар — потягивай вино и разговаривай по душам, сколько тебе угодно...

Чейз, как я понял, явно контрразведчик, был немногословен, но поддержал мой разговор о делах военных, фронтовых. Пил я совсем нежного и рассказывал ему про свои наблюдения над американской и британской военной техникой, которую нам в армию Катучова поставляли. Понимаешь, сказал я ему (разговор шел на немецком, где мы были в общем-то на равных), броня у ваших бронетранспортеров мягкая, для пуль непробиваемая, но мягкая...

«Как так?» — спросил он. «Да был такой случай, понимаешь, — сказал я ему. — В одной деревушке мы пересекали на американском бронетранспортере шедшую под гору дорогу, а по ней наперерез нам на английском мотоцикле разведчик мчался (в разведбате у нас все мотоциклы были английские). Чтобы притормозить, он интуитивно отжал ручки мотоцикла на себя, а надо было наоборот сделать — английский мотоцикл сбрасывает обороты тогда, когда ты ручки от себя отжимаешь. Какой конструктор придумал такую нелепицу — не знаю, но вот разведчика она погубила: он отжал ручки на себя до отказа, мотоцикл взревел и на полной скорости врезался в наш бронетранспортер. Разведчик головой ударился в дверцу бронемашины, я рядом с ней сидел.

Что осталось от его бедной головушки, рассказывать не стану, но скажу, что на дверце машины появилась солидная вмятина — броня действительно была мягкая! Черт бы меня побрал, если я лгу...». Выслушав далее, как нас прикрывали американские «аэрокобры» Покрышкина на Одерском плацдарме и как немцы все ж забросили на переправу огромную ракету, послушав кой-какие другие мои рассказы того же толка, Чейз вполне понял, что такую «легенду», как у меня, не сотворят ни в одном из спецучилищ или еще там, где *их* готовят...

«Ну да ладно, — сказал он мне в конце нашего разговора, — куда вот тебя отвезить?». А выпили мы с ним чуток — ему машину вести, я был нацеху..

«В Карлсхорст отвезешь, — сказал я ему откровенно, — никогда меня больше не увидишь».

«Да я ваши порядочки знаю, — пооткровенничал и он. — Значит, ближайший S-Bahn?» — спросил он. Я кивнул головой.

Минут через десять, ничем не отличаясь от немцев, я штурмовал дверь переполненного вагона и услышал знакомый возглас станционного смотрителя: Zurückbleiben! По своей фронтовой привычке к хулиганству я этот возглас всегда переиначивал на немецко-русский лад: назад, б...и.

В общем, с американцами мы в Контрольном совете дружили, в отличие от ТОГО в Москве, который ЭТИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ В СВОИХ ПРОТИВНИКОВ ПРЕВРАТИЛ. Наверно, тогда был упущен какой-то ВАЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС — не ввязываться в безумную гонку ракетно-ядерных вооружений, хотя вот Рузвельт уже из жизни ушел, с Труменом, который Хиросиму и Нагасаки спалил, чтобы в первую очередь нам наглядный урок дать, вряд ли что-либо получилось, тем более, что на того и Черчилль давил (речь в Фултоне 5 марта 1946 года).

Удар ниже пояса

Что я действительно нахожусь под «колпаком», я почувствовал в 1947-м на одном из закрытых партийных собраний; доклад тот делал Кузнецов, парторг ЦК, присланный в наше важное заведение из Москвы за наблюдением за всеми порядками в нем. Говаривали про Кузнецова, что чином он полковник НКВД, хотя он никогда мундира не носил, и что он своими «разоблачениями» весьма быстро сделал карьеру в Москве и еще кое-что, что я передавать не буду, слухи есть слухи. Ходил он по нашему Управлению в сшитых из прекрасного материала костюмах, почему-то всегда засаленных на животе... А вообще оказался Кузнецов общительнейшим человеком, а объектом своего общения почему-то избрал меня — мы выходили в холл, что находился между моим кабинетом и шифрвалкой, и подолгу беседовали, сидя в креслах. Впрочем, может быть, в этих визитах ко мне и не было ничего странного и угрожающего мне — ведь я был самым молодым коммунистом в нашем Управлении, Кузнецов просто обязан был по своему партийному долгу именно со мной вести воспитательную работу.

Кстати, это был не первый политработник, с которым я вел беседы. Еще в 1943-м, когда я очутился в штабе стрелкового полка в должности полкового почтальона, со мной отводил душу после своих походов в батальоны и батареи замполит нашего полка (иногда мы с ним вместе эти походы совершали). Был он из питерских рабочих и многое мне рассказал. Тогда же я решил в партию вступить.

Скажу кстати, что должность почтальона в полку — самая благодарная. Тебя — связывающего воюющих рябят с родиной — встречают, как самого дорогого гостя, угощают всем, чем богаты, в батареях, к примеру, самой свежей кониной, да и выпить дадут.

Вот еще что могу добавить, к Кузнецову возвращаясь. Обладал он феноменальной памятью. На пари он мог за одну ночь прочесть неизвестную ему книгу и утром шпарить наизусть из нее любую страницу. Кузнецову, видимо, никаких особых аппаратов для записывания своих бесед не требовалось — он все запоминал предельно четко. Ко всему прочему он немного косил, и если про Андряко можно было сказать, что он прямо смотрит на собеседника, одновременно видя, что по сторонам делается, то с Кузнецовым дело обстояло как раз наоборот — смотрел он явно по сторонам, но казалось, что, кроме тебя, никого не видит...

Так вот в ноябре месяце 1947-го на закрытом партсобрании (тогда «порядок» в СВАГ наводить начали) Кузнецов зачитал важный документ. В нем говорилось о майоре Советской армии К., который утратил моральную стойкость, спутался с немкой L., проще говоря, полюбил ее

(*Omnia vincit amor, et nos sedamus amori.* — Все побеждает любовь, покоримся и мы любви — *лат.*) и даже попросил у командования разрешения вступить с нею в законный брак! Был майор немедленно разжалован, отослан на Родину, ибо не подобало ему, советскому майору, становиться на путь измены (кому?), да и вообще вступать с немкой в непозволительную связь, с женщиной, которую он любил, видимо, больше, чем я свою Анну или Лотту.

Зачитав суровый Документ, парторг ЦК минут двадцать говорил — уже от себя — о Бдительности, Чистоте рядов, Моральном долге перед Родиной и прочем, а кончил как-то неожиданно — сообщением о том, что «сигналы» о каких-то «недозволенных связях» с немецким населением наших сотрудников поступили и к нему, и что в нашем Управлении в этом отношении тоже «не все блестяще, не все в порядке». После этого он кинул свой странно косивший взгляд на тот угол зала, где тихо-мирно сидел я, и вызвал именно меня на трибуну!

Я успел перехватить встревоженный взгляд капитана Соколова, моего друга, и пошел к трибуне, лихорадочно соображая, как лучше поступить — спросить, что за «сигналы» имелись в виду, и потом выпутываться по ходу дела, или же откровенно признать *кое-что безо всякой помощи Кузнецова. Выбрал я последнее.*

Честно говоря, я бы мог порассказать присутствующим кое-что, ибо с миром, имя которому Берлин, связи у меня все-таки были и, признаюсь я вам, мне нравилось познавать этот мир, и я не вижу тут ничего плохого, абсолютно ничего! А еще больше нравилось познавать Берлин моему другу капитану Соколову, он был невероятно любознательным человеком, и мы с ним за два года облазили все сектора Берлина и знали даже многие его закоулки. Разумеется, это были только осколки когда-то великолепного, а ныне израненного войной города, но и осколки были прелюбопытные. Мы знали с Соколовым даже о существовании во французском секторе Берлина православной церквушки, где мы в ночь под Пасху слушали и Торжественный Благовест, и Песнопение о Воскресении Христовом — вместо того чтобы спать, как положено, в своих квартирах в Карлсхорсте...

Небольшая передышка после выступления Кузнецова

Отвлекусь немного. Еще в 90-х годах прошлого века побывал я за «Круглым столом» в Доме кино у Вали Толстых. Был «Круглый стол» посвящен проблемам нашего нынешнего духовного возрождения,

приложен был к пригласительному билету вопросник, составленный, видимо, людьми мало знакомыми с жизнью. Спрашивалось, между прочим: «Сознательно ли вы сделали свой выбор между атеизмом и религией?». Но как можно было сделать выбор, если самого выбора не существовало? Мне известен был только лик Божий в рисунках на «Библии» Ем. Ярославского — валялась такая у деда моего, бывшего казака, Павла Осиповича Крячко, оставшегося учительствовать в селе Голодовка (было и такое в Земетчинском районе Тамбовской области).

И лишь в конце 80-х годов я, постояв в очереди в Даниловском монастыре, когда мне под 60 было, не столько о себе думая, сколько о внучке моей Ирочке-козочке, купил «Детскую библию» для внучки. Но она, прочитав ее, да еще «Вавилонскую башню» Корнея Чуковского, решительно в свои десять лет об атеистическом выборе заявила — все это сказки, не было никакого Бога и нет, нет и нету.

«Закон Божий» купил я в том же монастыре уже для себя и вот тогда только узнал об отличии еврейской ветхозаветной Пасхи, как праздника освобождения от рабства египетского, и Пасхи православной, христианской, новозаветной, что торжественное избавление через искупление всего человечества Христом от власти дьявола означает и дарование нам всем, грешным, посмертной жизни и вечного блаженства. Только теперь узнал я то, что видел в 1947-м в берлинской церквушке: Пасха есть Праздник праздников, Торжество торжеств и посему «богослужение сего Праздника отличается величием и необычайною торжественностью». Мне надо было добраться через войну до Берлина и прожить еще лет сорок, чтобы начать свое знакомство с Православием, хотя после посещения того госпиталя в Померании ни в какого Господа Бога поверить я не могу.

И вот что еще я хотел бы сказать о берлинских моих связях. Были у меня недалеко от Карлсхорста герр Шмоллер — у него я брал уроки французского, и фрау Гертруда Больц, совершенствовавшая мой английский, — здесь тоже не было ничего запретного и необычного. Ей было за 50, и была она страшной англomanкой, и мне ее постоянные восторги по поводу английской литературы до того надоели, что я однажды принес на занятия случайно оказавшийся у меня в наличии томик Чехова и перевел на своем неважнецком немецком «Июныча». Фрау Гертруда была поражена, что в России, где по ее представлениям обитали сплошь варвары, мог быть написан такой прекрасный рассказ, хотя перевод мой с чеховского русского языка на немецкий был далеко не прекрасен...

Контрудар Николая Васильевича

Итак, тот удар на партсобрании был нанесен Кузнецовым внезапно, в самое больное место, противник был мне совершенно неизвестен и я, как говорилось сначала в сводках Информбюро, а на последней стадии войны в сводках германского ОКВ, отступил на «заранее подготовленные позиции». Я вполне чистосердечно признался в том, что посетил пару раз немецкое кино вблизи Карлсхорста. И додумался в ходе своего признания напомнить, что я был все же немецким переводчиком в 1-й Гв. танковой, а вот здесь, в нашем Управлении, никакой практики в немецком не имел, только с «союзниками» работал.

Я вообще не знаю, что за «сигналы» были у Кузнецова, или он просто блефовал, чтобы поймать меня на этом собрании. И не знаю, чем бы оно для меня кончилось, если бы занесенный Кузнецовым над мою голову острый предмет (а сколько их бывает — от ножа гильотины до рукоятки простого револьвера!) не сумел как-то очень ловко отвести в сторону от моей повинной головы мудрейший Николай Васильевич. Он сидел в президиуме собрания и вел его — главный начальник наш Семенов был в это время в Москве.

Николай Васильевич минут пятнадцать, и убежденно так, говорил о Долге, Моральном облике, Верности Родине и безусловно осудил всяческие хождения по соседним с Карлсхорстом районам, даже просто в кино. А потом он повел разговор о том, что подобные «сигналы», коль скоро они касаются нашего Управления, все же нельзя рассматривать с общепринятой в СВАГ точки зрения. Ибо Управление наше было особым Управлением и ему вскоре надлежало развернуться в Посольство, оно вообще является не столько «военно-административной» — тут Николай Васильевич впервые взглянул на Кузнецова и подчеркнул резко — сколько *потенциально дипломатической единицей*, обязанной поддерживать контакты с населением, разумеется, с разрешения руководства, а не самовольно. Далее он отметил, что и руководство Управления, и его партийная организация вообще упустили специфику нашего заведения и перспективу его развития. Далее он поддержал меня и сказал, что все сотрудники должны совершенствовать знания немецкого языка. И потом он нанес уничтожающий удар по Кузнецову, рассказав, какие ценнейшие сведения советское посольство получило в июне 1941 года и передало в Москву (о том, что они так и не были использованы Сталиным, он, естественно, не говорил). Кузнецов, слушая его речь, явно сник, а я воспрял духом!

И все же, когда я возвращался домой с собрания и поднимался к себе в квартиру на пятом этаже, настроение у меня было отвратное.

Я явно «мямлил», давая свои «объяснения», ибо не знал, что за «сигналы» появились у Кузнецова. Может, у него и были «сигналы», а может, юркий Кузнецов, живший в том же доме, что и я, просто заметил из окон своей квартиры, как поздно вечером (бывало и такое) я пробирался домой совсем не с той стороны, откуда следовало приходиться, — а со стороны прохода в окружавшей Карлсхорст загородке из колючей проволоки. В загородке — как раз позади нашего дома — был неизвестный руководству, но хорошо известный мне проход через плохо запирающиеся двери офицерской кухни... И не только мне был известен этот проход, как оказалось чуть позже...

Так вот, поднимаясь в довольно отвратном настроении к себе на пятый этаж, я увидел на ступеньках моей квартиры притулившуюся к стене женскую фигуру. Это была собственной персоной Шарлотта Шульце, моя Lotti, — именно то вещественное доказательство, которого так не хватало на партсобрании проницательному (этого у него не отнимешь) Кузнецову, присланному к нам в Управление то ли от ЦК, то ли из ЦК, но, как я уже сказал, не без ведома органов НКВД, имеющих свою специфику...

Второе прощание

Шарлотта пришла к дверям моей квартиры часов за пять или шесть до моего возвращения с собрания, соседи, к счастью моему, пришли чуть позже меня, когда я закрыл за Шарлоттой и собой дверь. Адрес мой в Карлсхорсте Шарлотта знала — я сообщил его ей в одном из первых же писем: название улицы, номер дома и квартиры. Сообщил так, на всякий случай. И вот теперь этот случай наступил — она приехала прощаться со мной. Как Шарлотта смогла найти проход в загородке из колючей проволоки, я так и не знаю, забыл тогда у нее спросить. Знаю зато другое — истинная любовь преодолевает все преграды.

Я провел Lotti в квартиру, помог ей раздеться и привести себя в порядок, потом дал ей зеленого ядовитого ликера, который продавался в нашем сваговском магазине — ничего другого там не было, а потом долго пытался Лотту отогреть: ее была нервная дрожь от пережитых волнений с поиском квартиры моей в Карлсхорсте, долгого ожидания, но, главное, от предстоящей нам разлуки — Лотта приехала на последнее со мной свидание, увидав безнадежность и дальнейшей нашей переписки, и дальнейших наших отношений. Никакого будущего у нас с ней не было. Поэтому она и пришла ко мне в последний раз.

Утром я позвонил на работу, сказал, что мне нездоровится после вчерашнего собрания, и провел с Лоттой целый день, добыв кой-какое продовольствие у соседей, — покидать ее даже на час-другой мне не хотелось.

А темным вечером того памятного мне дня я провел Лотту через проход в проволоке, мы кое-как смогли добраться до дома ее тетушки, куда я приходил за ее письмами. Я поцеловал Lotti, свою Lotti, в последний раз — она была убита горем, совсем безжизненная, неподвижная. И тут мы с нею расстались... И тоже навсегда...

Все ее письма, которые я хранил, я сжег — сжег, ибо боялся, что Кузнецов одним только выступлением на собрании не ограничится — уж больно кривая ухмылочка у него во время речи Николая Васильевича, меня защищавшего, на лице проскользнула. И я понимал, что сжигал не письма, сжигал я свою любовь к Лотте, и до сих пор не могу простить себе этого — Кузнецов ничего против меня больше не предпринимал. Одно только остается сказать мне в оправдание моей боязни, или трусости, что ли: все-таки сохранил я в целости, оставил нетронутой карточку Lotti, ее фотографию, где она сидит в белом платье, как-то причудливо откинувшись в сторону, такая прекрасная и радостная. А на обороте вязью ее букв — такой вязи я не видел в прочитанных мной на фронте немецких письмах — выведено: «На долгую... (нет, мой перевод неточен) — На всю оставляемую тебе память»... Ну что ж, эту карточку я храню до сих пор, а вот выше решил и читателям показать, ни плохого, ни страшного в этом ничего я не вижу...

Несколько слов о моей жене Маше

Прощание с Лоттой было у меня в ноябре 1947-го, а 10 января 1948-го я столкнулся на пороге здания нашего Управления со своей Судьбой — будущей своей супругой Машей. Порог Управления переступила девушка в неказистом пальто, видимо только что прибывшая в Карлсхорст из России, и спросила у меня, как ей попасть в наш отдел кадров — был у нас и такой — комнатка в конце коридора на первом этаже. Я показал туда девушке путь, абсолютно не ведая, что веду в кадры свою будущую, на всю долгую жизнь, супругу — это была переводчица с французского, присланная из Москвы и в тот же день попавшая в мой Секретариат. Ездили мы теперь в Контрольный совет уже не часто, он понемногу сворачивал свою работу. Собственно говоря, переводчиц тогда прислали двух: Шуру Родионову, английскую, и Машу Коробкову, французскую. Первая была постарше, вторая — помоложе,

только что выпущенная из Торезовского института в Москве, куда она поступила, приехав в Москву из небольшого вологодского городка Сокола, из совсем неграмотной рабочей семьи. В престижный институт, в отличие от нынешних времен, принимали тогда и из совсем простых людей — были бы только способности к языкам, и Маша стала студенткой, провела в студенческом общежитии несколько лет, ничего не имея, кроме небольшой своей стипендии, и ухитрилась еще при наличии таких вот денег, как я впоследствии узнал, довольно хорошо познакомиться с театральной Москвой. Во время войны ее учеба прервалась, но ненадолго.

Именно Маша, с которой я, не без некоторых приключений, сблизился после ее приезда в Секретариат, и настояла на том, чтобы я пошел в среднюю школу, которая была в Карлсхорсте. Пошел я туда с опозданием, но выбился даже в круглые отличники, на медаль мое сочинение представили, все остальные экзамены я на 5 сдал. Но «наверху» меня «срезали», там всегда кого-то или что-то срезают, так что я не в литературу пошел искать свою дорогу в жизни, ныне первый раз с небольшой повестушкой мемуарной и некоторыми своими стихотворениями и переводами (в конце книжки) выступаю.

Маша же настояла и на том, чтобы я ушел с престижной работы своей в Берлине и в Москву учиться отправился, перед этим мы с ней в Потсдам съездили, красоты его посмотрели. Нашу карточку тех лет, когда мы с ней уже были женаты, я сохранил, и тоже представляю ее вам, читатель, там, где она с дочкой Мариной — Маша в молодости, да и позже, очень симпатичной была. В одиночестве ей пришлось в Берлине с полгода провести, когда я в Москву учиться уехал, а поскольку письма ей я на место работы направлял, его сотрудники (во главе с Кузнецовым!) ее с замужеством поздравляли, о моих успехах в учебе спрашивали. Потом я ее в Москву все-таки вызвал к себе. Впрочем, «к себе» слово не совсем точное. Ютились мы, шесть человек (потом и дочка родилась), в проходной барачной комнате — ничего другого у моих родителей не было. Маша обо всем этом знала — в августе в Москву приезжала в том же 1948 году, в отпуск — с моими родителями знакомиться. Они ее очень хорошо приняли — вот только жить нам было, по правде говоря, нигде... С жильем в Москве плохо было, но родители нас приютили.

Сколь трудно было Маше решиться ко мне в Москву ехать, говорит выписка небольшая из ее письма мне, которое она послала в середине декабря 1948 года, познакомлю вас, читатель с ее мыслями о нашем с ней будущем:

«Сегодня получила от тебя письмо и растаяла. Как же можешь сомневаться в том, что твои письма мне приносят очень и очень много радос-



Моя жена Маша вырастила красивую дочку Маришу.

ти? Я не знаю, если бы ты не писал так часто, смогла ли я решиться уехать отсюда в неизвестность. Здесь хоть и плохо, но ясно. А что будет там? Вот вчера мы разговаривали с Дусей (подруга Маши) об отъезде. Выводы не очень оптимистические, но все-таки... Жить ведь нужно, даже и с таким характером, которым бог наградил нас. Но я думаю, что ты возьмешься за мое воспитание, и я как-нибудь приспособлюсь к жизни.

Женечка, милый мой, я никогда не сомневалась и не сомневаюсь в твоей искренности, но меня всегда так пугает будущее. Ведь на мне больше ответственности лежит, чем на тебе. Теперь это должно быть так, хотя раньше, кажется, было наоборот. Ты не помнишь, как это было? Мне сейчас даже немного стыдно за прежнюю Машу. Или не должно быть стыдно? Как ты думаешь? А может, лучше совсем не думать? Приеду, встретимся и разберем все эти вопросы. Составим план поведения на будущее. А кто же будет его утверждать? Родители? Или без никакой визы? Как?

Ну как же мы, мой дорогой, так и будем жить в одной комнате со всеми остальными? А выживем? Вернее, сможем ли? Или стоит только

пожелать, и все будет в порядке? Не знаю, как ты, а меня очень это смущает. А тебя?».

Мы жили все и в одной комнате после приезда Маши, затем мы начали снимать — не без помощи отца моего, который врачом в Лосиноостровской работал, — комнаты у людей, отбывавших в заграничные командировки (однажды даже и двухкомнатную квартиру неплохую в Лосиноостровской сняли), дочка Мариша у нас родилась, Машин мать приехала к нам за ней смотреть. Маша сама на курсы французского перевода поступила, затем во Французской редакции на радио работала. И только в свои сорок лет, когда жилищные кооперативы стали строить, а я и печатать книги свои научные начал, за которые тогда гонорары немалые платили (ныне все обстоит наоборот — за издание книги ты сам деньги, и немалые, вносишь, а откуда они у ученого, мизерную зарплату получающего?), квартиру собственную обрели мы с Машей и Маришкой (я ее тогда усиленно немецкому языку обучал). Но, видно, пережитые трудности (да и болезнь моя в студенчестве, о которой я расскажу) спаяли, сплотили нашу маленькую, дружную семью, и выдержала она все испытания, а таковые, не скрою, были — какая же жизнь проходит без испытаний?

Итак, в Москву я поехал в июле 1948 года поступать на Философский факультет МГУ им. Ломоносова, и вот тут я должен снова выйти к своей философии войны и жизни — есть у меня, как я уже писал, такая, и рассказать я ныне хочу о роли в ней уже не НЕОБХОДИМОСТИ, как ранее, а СЛУЧАЯ, да и СВОБОДЫ ВОЛИ своей... А для этого рассказа верну, читатель мой, тебя я на какое-то время вновь к страшным годам войны, а потом к странным и страшным событиям в Берлине.

О роли «случая» в моей жизни

Ужасно это, читатель, но что было, то было, отъезд мой в Москву для поступления на Философский факультет МГУ предварил — и отчасти по моему собственному недосмотру, хотя это и не совсем так! — гибель двух моих друзей, оба Кольками звались, а вот фамилии их я — за давностью лет — запомнил...

Первого Кольки не стало недели через две-три после нашего с ребятами прибытия под городок Демидов, что на Витебщине, и зачисления нас в минбатарею 120 мм стрелкового полка со всеми вытекающими из этого последствиями.

Немцы отошли тогда сразу километров на тридцать к ближайшей окраине городка, а наша СД, в будущем Демидовская, двинулась вслед

за ними по единственной дороге — единственной в том смысле, что с нее нельзя было съехать ни вправо, ни влево, это была, помнится, песчано-щебеночная лента, среди сплошных болот протянувшаяся. А в ленту немцы насовали уйму пластмассовых мин, их миноискатели наших саперов «не брали». Саперы потыкали дорогу шупами, кой-какие мины обнаружили. А дальше... Дальше потянулись по песчано-щебеночной ленте полки дивизии.

И представьте себе такую картину. Ваша повозка с минометом 120 мм следует в нескончаемой колонне по этой треклятой ленте-дороге. И каждые десять-двадцать минут раздаются взрывы, то сзади, то спереди повозки, да еще немцы из своих дальнобойных колонн обстреливают... Да и приходится проезжать мимо лежащих на обочине тел погибших от мин или артснарядов, вернее, мимо того, что осталось от несчастных...

Так длилось два нескончаемых дня. В ночь перед третьим наша минбатарей попыталась свернуть на какую-то полянку, где стояли копны и можно было поспать. И как раз на съезде с дороги перед нашей повозкой с минометом взорвалась — метрах в трех от нас — наша полевая кухня на мину противотанковую кухня наехала. Взрыв был так силен, что почти всю ее с кашеваром вместе бросило нам на телегу, с трудом мы их убрали.

А утром, когда минбатарей снова стала выползать на треклятую дорогу, командир нашего миномета Колька, спавший рядом со мной в копне, просто... не захотел вставать. Его, видно, в тот вечер изрядно контузило — сидел он ближе остальных к полевой кухне. Ездовой уже запряг лошадь, а я, заряжающий в нашем расчете, пытался и уговорами, и физическими действиями поднять Кольку. Он лежал в копне, был вроде бы жив, смотрел на серое-серое небо, но ничего не говорил и никак на меня не реагировал, на все мои слова и на все мои действия — живой труп, да и только. Везти его в тыл, в медсанбат не было никакой возможности, по узкой дороге было только одностороннее движение — лишь в ту сторону, где они нас, а мы их убивали. Минут через пятнадцать я прекратил свои усилия по оживлению живого вроде бы — а вроде и нет? — Кольки. Батарей была уже в полукилometре впереди от того места, где я с Колькой возился. Я просто оставил командира в копне, взяв на себя командование расчетом, что потом и комвзвода, и комроты одобрили... Наша повозка выехала на дорогу...

А через месяц-полтора моя мать прислала из Пензы письмо, она с Колькиной матерью сдружилась; та получила похоронную... Где и как реанимировали моего друга, я не знаю, но вылечили от всех недугов радикально...

Второй друг мой, тоже Колька, погиб, когда я был уже на фронте дипломатическом, и прямо на глазах у меня. Мой кабинет в Управлении политсоветника был на третьем этаже недалеко от нашей шифровалки. Между кабинетом и шифровалкой был небольшой холл с двумя креслами, где мы зачастую посиживали вместе с шифровальщиком Колькой, пареньком лет двадцати пяти, говорили о том о сем, но никогда — о делах его служебных, они были покрыты тайной. Через него и его напарника, я вроде бы говорил об этом, здесь повторяюсь, шла связь нашего Управления по линии дипломатической с МИДом — НКВД и, что особо важно, с САМИМ ХОЗЯИНОМ, как мы его все в Управлении звали...

Колька вышел в тот день из шифровалки, запер ее ключом и положил ключ почему-то в карман (обычно он надевал его стальное кольцо на палец левой руки и ключ для верности ладонью прихватывал). А тут, направляясь вниз перекусить, изменил этому обычаю.

Через полчаса Колька вернулся, вызвал меня из моего кабинета, мы посидели минут десять-пятнадцать в креслах, что в холле стояли, потом разошлись по своим местам работы, он — в свою сверхсекретную шифровалку, я — в свой кабинет. А потом, через пару минут, он вбежал в мой кабинет бледный как полотно — ключа от его шифровалки в его кармане не оказалось! Ключа от каналов связи с МИДОМ-НКВД и с САМИМ — в сверхважных или сверхсложных случаях!.. Для Кольки все это происшествие могло кончиться вышкой — не менее...

Целый час длились наши тщательнейшие поиски, Мы трясли изо всех сил кресла — больше ничего в холле не было, осмотрели пол, все до единой паркетинки, два-три раза сбегали вниз, в буфет, все и там обыскали — ключ словно в преисподнюю провалился. Затем Колька — белее полотна! — ушел докладывать своему начальству о случившемся... Никто к нам в холл или в буфет не приходил, никто ничего не осматривал. Кольку просто засунули в самолет и отправили, куда полагалось в подобных случаях...

А неделки через две после этого странного и страшного происшествия меня как-то вызвал для разговора в тот же холл поднявшийся на третий этаж Кузнецов и сел в кресло напротив меня, там где сидел в тот злополучный день Колька. Подушка кресла под тяжестью Кузнецова прогнулась, и я ясно увидел какой-то металлический предмет в раскрывшейся прорези — между подушкой и подлокотником. Через минуту я демонстрировал торжественно парторгу пропавший Колькин ключ — он просто выпал из его брюк в то время, когда мы разговаривали с ним в холле, и угораздило его попасть в щель, между подлокотником и подушкой кресла! «Вот он!» — кричал я, задыхаясь от радости.

«Помолчи! — резко оборвал меня наш “парторг”. — Твоему Кольке ничто уже не поможет! Раньше надо было искать! — Кузнецов безусловно знал то, о чем говорил. — И давай-ка ключ сюда!». (Все замки в шифровалке к этому времени сменили.)

К чему я рассказал эти две печальные истории, вроде бы не связанные друг с другом? Чтобы показать чудовищную роль СЛУЧАЯ на фронте да и в гражданской жизни и все-таки подчеркнуть, что отчасти эту роль могла видоизменить моя СВОБОДНАЯ ВОЛЯ.

Я тысячу раз проклинал себя за то, что бросил тогда, на Витебщине, под Демидовом Кольку в копне, а не затащил его в нашу телегу, может быть, отлежался бы он, отошел на передовой. И остался бы командиром миномета... Но я его все-таки бросил, командование на себя взял. А через две-три недели, когда пехоту у нас повыбило, весь состав нашей минбатареи вместе с составом писарским и составом взвода охраны штаба на какой-то поляне выстроили и половину строя отправили сразу же на передовую, в пехоту. Но командиров минометов не тронули — надо же кому-то пополнение обучать... И почти все наши минометчики, на передовую отправленные, были убиты и ранены в тот же день. Через расположение нашей минбатареи проследовал один из минометчиков — пуля прошила ему легкое, но он еще держался на ногах и сам вышел из боя, в медсанбат шел. Другой наш минометчик — с легким ранением головы — тоже добрался до нашего расположения и был оставлен комбатом в «безопасном» месте на минбатарею (а мы за месяц боев на Витебщине почти две трети состава потеряли). Если бы Колька остался тем же командиром миномета, мне бы быть убитым или раненым на бруствере окопа в октябре 43-го — прямо под пулеметный огонь необстрелянных ребят подняли атакую; одни только «старые» солдаты в окопах «отсиделись». Это страшно и жутко, но ценой гибели первого Кольки из-за того, что бросил я его в копне, — я сам остался жив, а его вот расстреляли, наверно, как дезертира... Остался так вот я жить после войны, философию, историю, политологию всю жизнь постигаю...

И тысячу раз проклинал я себя за то, что в случае со вторым Колькой мы оба сплеховали, не исследовали как следует распроклятые кресла, уж больно тесно подушки к подлокотникам прижимались, когда никто в них не сидел, а мы зря свободные кресла трясли.

И все же, даже уйдя из жизни, второй Колька мне свой завет оставил — и довольно странный. Почему-то вечно он таскал с собой «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Ей-богу не знаю, зачем и почему. Но я, как-то раз открыв книгу, на русском языке написанную, ничего, абсолютно ничегошеньки в ней не понял. А поскольку жажда

любви у человека сочетается со столь же неумной жадной познания, эта моя неудача с книгой засела во мне и продиктовала мне нацелиться именно на философский факультет МГУ, а не куда-нибудь еще... Не знаю, сочетался ли во втором происшествии СЛУЧАЙ с моей СВОБОДНОЙ ВОЛЕЙ, но, во всяком случае, он и тут преобладал. Видимо, так.

Представлялся мне в Берлине Московский государственный университет учебным заведением необычным, где студенты некие интересные науки постигают — совсем не чета школьным, дорогу жизни твоей к чему-то неизвестному направляют, меняя ее ход радикально, делая тебя другим человеком.

И как же бесконечно далеко отличался мой возвышенный идеал от земной и достаточно грязной жизни, что на Философском факультете царил! Оказался он почти сплошь обителью, пристанищем *ложных знаний*, о чем мы, конечно, узнали, но далеко не сразу...

С фронтов Отечественной и дипломатического на философский фронт

Как из нас готовили волчью стаю

Мне хотелось бы поначалу вспомнить Москву конца 40-х годов, куда я прибыл после демобилизации. Армии было отдано 5 лет жизни, из них 2 года — на фронте, 3 года — в Контрольном совете в Берлине, где велись бои уже дипломатические с «союзниками» нашими.

В столице было ощущение гигантской победы, которую одержала страна. Но все-таки в Москве была и некоторая *отдаленность*, я бы сказал, от невероятных трудностей, пережитых и переживаемых страной, особенно жителями тех ее областей, которые были под немецкой оккупацией, а потом во второй раз оказались под катком войны — уже при освобождении их советскими частями. Из окон поезда Берлин—Москва можно было видеть развалины городов и дотла спаленные деревни, в которых оставшиеся без мужиков бабы, старики, дети должны были не только сами выжить, но еще и кормить страну, ее столицу.. По дороге в Москву запомнился мне такой случай. В Смоленске, взглянув с попутчиком-летчиком в открытое в коридоре окно вагона, мы увидели на перроне... российского жандарма, будто вышедшего из довоенных фильмов вроде «Юности Максима». Белая навывпуск гимнастерка, перехваченная ремнем, шашка-селедка на боку, фуражка с высокой тульей и кокардой. Летчик со всей своей непосредственностью крикнул из окна, обращаясь к фигуре: «Эй ты, жандарм!». Привокзальный постовой обиделся и произнес в ответ: «Зачем же Вы так, товарищ капитан! Разве я придумал такую форму?».

А лет восемь спустя, работая уже референтом у академика А.М. Деборина, услышал я от него такой рассказ. В 40-х годах, в самый разгар Отечественной войны, с самого что ни на есть «верха» поступило рас-

поряжение: подготовить весь состав Академии наук СССР к переодеванию в специальные мундиры, соответственно званию и должности. Деборин, бывший в те времена членом Президиума Академии наук, сказал мне не без гордости: «Мы все же отбились от нелепого высочайшего повеления». А жаль, показалось тогда мне. Будь повеление проведено в жизнь, форма «отцов науки» точно бы соответствовала их зарегламентированной донельзя жизни, особенно в сфере идеологии.

На философском факультете я снова попал вроде бы на «фронт» — теперь уже философский. На партийных собраниях, где я присутствовал, часами критиковали профессора Белецкого, Завкафедры истмата на философском факультете МГУ. Обвиняли его в том, что, спутав субъективное отражение с объективным миром, он последний и объявил истиной в высшей инстанции.

Злые языки рассказывали даже такую «байку». Белецкий однажды открыл окно, выходящее у него на кафедре на Кремль, и сказал: «Вот она, объективная истина!». Было ли все это правдой и почему за такие взгляды надо было клеить «белецкианцам» политические ярлыки, оставалось для меня тогда загадкой — я только ко всему присматривался. Во всяком случае, «ушли» проф. Белецкого с философского факультета МГУ только после смерти Сталина и осуждения Маленкова и потом десятилетиями преследовали выпускников его кафедры — весьма знающих специалистов. Никакому «антимарксизму» профессор их не учил и на его кафедре были довольно демократические порядки. У одного из его учеников, В.Ж. Келле, мне довелось проработать пару лет в Институте философии АН СССР; это была интересная и творческая работа, но Отдел Келле потом разогнали, да и нас, всех сотрудников, за отъезд за границу одного из членов коллектива, некоего Виткина. Но уехал он за границу, получив на то *разрешение*, что никем не было принято во внимание. Главное для Трапезникова — надо было «изничтожить» белецкианца Келле, пожалуй, самого знающего «истматчика» в СССР. Он и мы, сотрудники Отдела, развернули тогда широкую работу по «смычке» марксизма с конкретной исторической наукой, и вот это не нравилось тогдашнему Зав. Отделом науки ЦК; в одном из своих выступлений С.П. Трапезников еще и запретил историкам разбираться «в марксизме!» Был он ближайшим «родственничком» самого Л.И. Брежнева, и спорить с ним не приходилось. Трапезниковым перед разгромом Отдела были подвергнуты при посредстве Заведующего Академией общественных наук М.Т. Иовчука разносу изданные Отделом Келле неплохие труды, для этой цели собрали кучу рептильных профессоров¹. Но я, кажется, безбожно забежал вперед — ведь я пока начинающий учиться студент философского факультета МГУ.

Впрочем, изучение *аналогичных* погромов и избиений, происходящих в идеологии, лежало в основе всего обучения на факультете.

Уже самый первый наш семинар на первом же курсе (проводил его некто Компанеец) был посвящен усвоению материалов только что отгремевшей сессии ВАСХНИЛ, прежде всего доклада Т.Д. Лысенко — этого погромщика в биологической науке и в генетике в особенности. На том же первом курсе нас заставили прослушать курс лекций некоего Презента — он был у Лысенко правой рукой по погромам и главным теоретиком. Через месяц-другой наиболее чувствительные к конъюнктуре студенты уже выступали сами с погромными статьями в нашей стенной печати (!) против «вейсманистов» и «морганистов-менделистов», абсолютно ничего не смысля ни в биологии, ни в генетике. Впоследствии, когда ветер переменится, они с не меньшим усердием включатся в борьбу с «лысенковщиной» и «ваннами Лепешинской».

Но, разумеется, основой основ всего нашего изучения философии был у нас Краткий курс истории ВКП(б), яростно клеймивший «врагов народа», отступников от ленинизма всех мастей и особенно троцкистов, этих «белогвардейских козляков», «лакеев фашизма», «подонков всего человеческого рода», разоблаченных и уничтоженных (о последнем в «Кратком курсе» упоминалось как-то глухо) «великим зодчим коммунизма» И.В. Сталиным. В «Кратком курсе» существовало даже такое понятие, как «право-троцкистский блок». Если учесть, что в «правых» ходили бухаринцы, а «левыми» именовались троцкисты, то это был блок «право-левый» — видимо, самое великое диалектическое открытие этого незабвенного пособия, которое преподносилось нам как «вершина марксистской философии»! В связи с изучением «Краткого курса» приведу несколько запомнившихся эпизодов.

Как-то раз мы с Юрием Карякиным, моим тогдашним другом (я был тогда комсоргом 1-го курса, а он — моим замом по воспитательной работе), поинтересовались — чего программа нашего изучения истории партии вообще не предусматривала — самими протоколами VI съезда партии, где обсуждался вопрос о явке Ленина на суд в 1917 году, и сразу же обнаружили разночтения между стенограммами съезда и их изложением в «Кратком курсе». Суждение наше по поводу сделанного нами открытия было таково: издавали протоколы, видимо, троцкисты, они-то их и сфальсифицировали. О том, что сплошной ложью — от начала до конца — был пропитан сам «Краткий курс», нам и в голову не могло прийти. Занимая руководящие комсомольские посты на 1-м курсе, мы были тогда самыми ревностными и яркими борниками сталинского творения, и наше усердие в этом отношении достигло геркулесовых столпов глупости и подлости... Об этом надо

рассказать чуть подробнее — чтобы войти в атмосферу тогдашнего обучения и понять, *кого из нас воспитывали*.

Преподавателей курса истории партии у нас было, собственно говоря, два. Первый — преподаватель кафедры истории КПСС по фамилии Ацаркин, когда-то видный комсомольский работник, читал нам лекции по этой специальности и прямо-таки пламенел, расписывая преступные деяния бесконечных антиленинских группировок в РКП(б), ВКП(б), КПСС, металл звенел у него в голосе. А вот семинар по этому же предмету вел некий доцент, можно сказать, «антипод» Ацаркина, человек абсолютно бесцветный и равнодушный к тому, что мы запоминали и говорили и что сам он говорил нам. Он был до такой степени бесцветен и безлик, что я никак не могу вспомнить его фамилию. И вот мы с Карякиным, одурманенные и лекциями, и семинарами, и, конечно же, внимательнейшим почтением самого «Краткого курса», дошли в своем почитании этого пособия до того, что представили руководителю семинара... список студентов нашей группы, не изучавших и не конспектировавших, как мы точно знали и как нам было предписано, «Краткий курс»!

Он взял наш донос без всяких эмоций, сложил листок вчетверо и спрятал в карман, не сказав нам ни единого слова! Взял и вышел из аудитории, где проводил свой семинар. Он-то прекрасно знал, что весь его курс был сплошной фальсификацией, знал и то, что на него возложена миссия — воспитать из нас *вольчью стаю*, которая в любой момент могла бы встать на защиту сталинизма. И оправдать мое тогдашнее поведение, когда мы сделали *добровольными доносчиками* с другом моим тогдашним Карякиным, может хоть в какой-то мере рассказ о моем поведении на четвертом курсе, когда мне как-то полуофициально (и не знаю, от какой организации) предложили, а я *отказался*, стать штатным осведомителем на курсе.

Да, именно на четвертом курсе на перемене между двумя лекциями, когда мы прогуливались по двору университета, подошел ко мне один из наших аспирантов и запросто так предложил... сообщать ему все, о чем говорят студенты на курсе, да и вообще, что делается на нем. Не знаю совершенно, кого он представлял — партком или «органы», но я тут же сослался на свое нездоровье. Как раз перед этим я перенес диэнцефалит, пропустил целый год занятий, а теперь догонял свой курс (даже носил темные очки — меня по-прежнему беспокоил яркий свет), и все это можно было подтвердить документально — справку я представил в деканат. «Знаете, — сказал я милому собеседнику, — у меня с головой не все в порядке, диэнцефалит я перенес, еще что-нибудь не так вам передам». С этим и отстал от меня собеседник. А с головой у меня даже во время болезни все в порядке было, диэнцефалит — это

заболевание вегетативной нервной системы, когда весь организм в расстройство физическое приходит, но голова по-прежнему работает. А на пятом курсе, догнав курс, я даже «сталинским стипендиатом» стал, что сразу сказалоcь на скромном бюджете нашей с Машей семьи, третьей была подраставшая дочка Марина.

А вот после окончания пятого курса сорвалась вторая моя вербовка. Меня срочно вызвали в военкомат, точно указав день, час моего при- бытия и номер кабинета. Там меня уже ожидали два субъекта в пре- красно сидевших на них (очевидно, заграничных) костюмах. Безо вся- ких распросов и предисловий они предложили мне сообщить им свою биографию... но на английском языке. Очевидно, внимательно изучи- ли все мои документы, в том числе и блестящую характеристику о мо- ем умении работать с «союзниками», которую мне дал Кузнецов при отъезде моем из Берлина. Правда, «забыл» он написать обязательную в любой характеристике фразу: «в моральном отношении устойчив!» — что-то он почуял, ищайка эта... Я сказал несколько слов на своем дале- ко не блестящем английском «I was born in Moscow» («Я родился в Москве»), а потом просто помотал головой.

«May be are you ill?» («Вы больны, что ли?») — спросил меня на пре- красном английском один из собеседников (я сидел перед ними все в тех же темных очках). «Да вот, перенес диэнцефалит в прошлом го- ду, — ответил я по-русски, — справка в деканате имеется, все еще тем- ные очки носить приходится». Тут я был во всем предельно точен. На этом прекратился наш разговор.

Так я упустил возможность стать вторым Зорге или Орловым — мои собеседники были явно из ведомства внешней разведки и совершенно зря потратили на меня свое драгоценное время.

Сумбур вместо обучения

Не надо думать, что пропаганда идей «Краткого курса» была моим ос- новным занятием на факультете. Уже со второго года учебы я, как ком- сорг курса, начал выступать на партийных и комсомольских активах и собраниях против непорядков в *организации нашей учебы*.

Марксизм, как нас учили, требует вскрывать социально-классовые корни любых философских творений и выводить тем самым идеи из со- ответствующей исторической обстановки той или иной эпохи (учитывая при этом и относительную самостоятельность идеологии). Нам же чита- лись курсы того, что на факультете *философией* именовалось, в *полнейшем отрыве от курсов истории*. На первом и, кажется, на втором курсах мы

сидели над изучением сталинских произведений, этой, как нам внушали, «вершины» марксизма. И в то же самое время доцент Пикус, видимо, страстно влюбленный в свой предмет, читал нам историю... Древнего Египта. Вообще-то говоря, связь между «сталинщиной» и «азиатским способом производства», о чем мы отнюдь не на лекциях узнали, существует довольно определенная, ее впервые подметил западный историк Виттфогель. К тому же склонялись и некоторые из выступавших на дискуссии об «азиатском способе производства», быстренько задавленной в начале 1930-х годов, если не ошибаюсь. Но Пикус, несомненно знавший обо всем этом, об *этом*, естественно, молчал, он сообщал нам любопытные сведения о содержании древних папирусов, системе орошения у египтян, войнах того времени и прочее — в том же духе.

Кто читал нам курс античной истории на втором нашем курсе, я, признаться, позабыл, лекции были какие-то незапоминающиеся. Да и о философии античности, причинах *многообразия философских школ* в Древней Греции, затем в Древнем Риме лектор нам абсолютно ничего не рассказал, хотя он читал свой курс лекций все-таки на философском факультете. Но я прекрасно помню, что как раз в это время мы перешли на семинарах к изучению произведений Ленина. Ленин написал что-то о Гераклите и Аристотеле в своих «Философских тетрадах», но совсем не этим мы в это время занимались, а его борьбой с народничеством, а затем — с меньшевиками.

Цикл лекций по западному Средневековью прекрасно прочла нам затем проф. Сидорова, русский феодализм читал импозантный проф. Базилевич. И параллельно мы изучали философию Маркса и Энгельса, естественно, к циклам лекций по Средневековью никакого отношения не имеющую!

Почему-то с первого же курса нас начали знакомить с Новейшей зарубежной философией, хотя мы западную и русскую философию Нового времени совершенно не знали, а также с новейшей зарубежной историей — читавший нам лекции молодой преподаватель (фамилию его я не запомнил) мало что нам дал, помню вот только, что английскую газету «Times» он именовал по-русски «Тимес» (а не «Таймс»), обнаруживая полное свое незнание английского языка, без чего его курс новейшей истории профанацией выглядел.

Курс лекций по истории СССР бойко прочел нам на пятом курсе, когда мы далее всего от советской философии были, запомнившийся мне проф. Дацюк, но вот о произведениях Ленина и Сталина он вообще не сказал ни единого слова, ни об избиениях Сталиным «меньшевиствующих идеалистов» (да и не только их) в конце 20-х — начале 30-х — тем более.

Но сколько бы раз я ни выступал против такого бессмыслия и бес- системности на партийных собраниях, деканат, возглавляемый проф. Молодцовым и его замом А.Д. Косичевым (жил он там же, где был деканат, за какими-то шкафами), никаких поправок в наше расписа- ние курсов лекций не вносил. И только относительно недавно, пере- читывая стенограмму Всесоюзной дискуссии по философии 1947 го- да, я понял, почему нас учили, как говорится, «шиворот-навыворот». Философская дискуссия 1947 года оказала огромное влияние на мно- гие сферы нашей идеологии, тематику философских работ и наше обучение (о ней у меня посему будет еще специальный раздел). Пока только скажу, что какие-то умники требовали на дискуссии строить курс обучения по философии так: прежде всего изучение марксист- ско-ленинской философии, начиная ее, разумеется, с работ «тов. Сталина». Далее — давать в самом начале учебы «разоблачительный» курс по истории современной западной философии. Получив, таким образом, «прививку» от всякой «буржуазной» дряни, «махизма» и «поповщины», нам следовало переходить к систематическому изу- чению всех прочих систем, начиная от Платона и Сократа и кончая Гегелем, разумеется, помня о критике последнего в постановлениях ЦК и на них делая акцент... Наш декан В.С. Молодцов, участник дис- куссии, и применял у себя на факультете эту, с позволения сказать, «систему». Впрочем, бестолковщина шла не только от Философской дискуссии, ее и без того хватало у деканата. Высшую математику мы осилили на первом курсе, а вот физику, где ее надо было применять, на четвертом, если не ошибаюсь (именно тогда я свой курс догонял после болезни).

Скажу несколько слов о наших преподавателях. Лекторы-историки были, как правило, у нас хорошие. Запомнился курс лекций по русской истории XIX века проф. Дмитриева. Он и в 1940-е годы не боялся вы- двигать свежие мысли, приступил осторожно к реабилитации сла- вянофилов, которые кафедрой истории русской философии трак- товались как отъявленные реакционеры. Но вот с философскими лекциями по *профилю* Факультета не везло. Из курса зарубежной но- вейшей философии запомнилось не содержание тех или иных школ, а неистово разносный тон проф. Дынника — старался он во всю. Проф. Баскин был, напротив, совершенно бесстрастен, но ужасающе скучен. Довольно живо прочел нам курс новейшей американской философии Ю.К. Мельвиль и ругани в его лекциях почти не было. Ни одной книж- ки современного западного мыслителя мы и в глаза не видели — все были спрятаны за стенами спецхранов, допускали туда только аспиран- тов. Но что удивительно, нас толком так и не познакомили даже с не-

менкой классической философией — сочинениями Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Гегелю был посвящен всего один жалкий семинар — Постановления ЦК предупреждали о его реакционности и обвиняли в пристрастии к «гегельянщине» школу Деборина. Из всех курсов по истории философии марксизма отличные лекции были только у проф. Г.И. Ойзермана — он осторожно подводил нас к концепции «отчуждения», входившей тогда в моду.

Несколько слов добавлю о проф. Базилевиче, читавшем нам курс истории российского феодализма. Монументально возвышаясь на кафедре, он в первый же день провозгласил во вводной лекции: «То, что я вам прочту, вы не найдете ни у кого. Я буду знакомить вас со *своей* концепцией. Попрошу ее усвоить». Мы должны были усваивать его концепцию, *не зная никакой другой!* Такие предметы, как историография исторической науки, у нас начисто отсутствовали. Не было у нас и историографии истории философии, о чем Базилевич также не подозревал. Но из его лекций следовало немаловажное заключение: на историю феодализма разрешалось иметь *разные* взгляды, что было *совершенно недопустимо* по курсу истории партии или марксизма-ленинизма.

Были на философском факультете и профессора дореволюционных школ, чудом ужившиеся в этом до предела заидеологизированном царстве. Аполитичнейший старичок проф. П.С. Попов, которому было доверено преподавание формальной логики (мы с Карякиным как-то заприметили его в Сокольниках у входа в маленькую церквушку), ухитрился начать свой курс с двух-трех вводных лекций «Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин о формальной логике», коей они профессионально никогда не занимались! Но целый ворох цитат из их сочинений Павел Сергеевич умудрился все-таки накропать — представляю себе, какие муки совести он при этом испытывал. Об интересовавшей нас проблеме соотношения логики формальной и диалектической он не сказал нам ни слова, другие преподаватели — тоже, видимо, надеясь на его курс.

Все видные философы издавна употребляли в своих сочинениях латынь, любили самые разнообразные латинские изречения. Латынь и преподавалась у нас старичком профессором Кесаевым. На его семинарах мы, как помнится, под руководством Леонида Грекова и Ивана Фролова, будущего академика и организатора Института человека АН СССР, поступали совершенно нахально — отодвигали стол преподавателя перед началом семинара в дальний угол, подальше от своих парт, и занимались своими делишками, покуда он что-то бубнил у доски. Из поучительных латинских изречений в моей памяти почему-то

засело одно: *Aquila non captat muscas* (Орел не ловит мух). У моих сокурсников были не большие познания.

На семинарах по политэкономии — важнейшая для нас наука — мы просто проскочили «Капитал» Маркса. Начал с нами разбор главы о товарном фетишизме умнейший преподаватель проф. Левковский и вдруг заболел, замены ему не прислали, семинар просто оборвался. Болезнь преподавателя в деканате никого не беспокоила — обойдутся они там, то есть мы, студенты, и безо всякого «товарного фетишизма», мало ли о чем Маркс в «Капитале» говорил, всего не охватишь...

На втором-третьем курсах меня начало возмущать не только перевернутое «шиворот-навыворот» расписание, но и отношение многих студентов к учебе. Я все-таки был приучен к порядку армейской службой, затем работой в Германии, был человеком женатым и, видимо, как-то не почувствовал, насколько «раздвоены» почти каждый студент и почти каждая студентка в своей «университетской жизни». Им же надо было и на вечеринке побывать, и в кино кое с кем сходиться, а тут тебе предлагают белиберду вроде домашнего задания проф. Кесаева, а на первых двух курсах «обязательную» долбежку «Краткого курса»! По моим тогдашним представлениям, добрая половина студентов учебой всерьез не занималась (может быть, к счастью своему?). Но я, как комсорг курса, повел с этим явлением решительную борьбу, и не без «подначки» парторга курса бывшего фронтовика Юрия Еремина даже вынес эту проблему на одну из общеуниверситетских студенческих конференций. Мне дали слово, и я стал бить по аудитории, что называется, из самого крупного калибра. Смотрите, говорю, что получается. Большинство студентов учатся шатай-валяй, постоянно «заваливаясь» на экзаменах. После каждой сессии им дают несколько дней на подготовку к переэкзаменовке, и они за пару дней получают искомый балл, толком ничего не зная, ибо осилить сложный предмет за такое время просто невозможно. Что это, как не обман государства!

Великий Боже! Каким ревом возмущения встретила мои слова громадная аудитория — я попал в самую точку.

И только позже, порядком «помудревший», стал я видеть **систему незнания**, насаждаемую в прославляемом учебном заведении почти совершенно сознательно, и особенно на нашем Философском, с позволения сказать, факультете.

Успехи студента оцениваются, как известно, в баллах, заносимых в зачетную книжку в каждую экзаменационную сессию. За 3—4 дня, отводимых вроде бы на освоенный предмет, точнее, на сдаваемые вами предметы, **абсолютно не связанные между собой**, вы должны вызубрить

сначала один курс или клочки из него. Затем вы должны удачно или неудачно выгадать билет, хорошо, если он совпадет с известным вам материалом, пусть наспех схваченным. Затем, сдав или «завалив» один экзамен или зачет, вы должны забыть, **тотально забыть все знания по данному предмету**, иначе вам вообще не сдать следующий предмет — плывущую вам навстречу новую громаду сведений и фактов.

Я как-то решил перемудрить студенческую судьбу и, сдав одним из первых успешно экзамен по биологии, вечером решил уже позаниматься другим предметом — историей Древнего мира. Произошла у меня в голове, как говорят, «сшибка» нового материала со старым, уже сданным, и я и на другой день не смог заниматься, день потерял, вместо того чтобы лишний день получить. А вот потом, «сдав» за месяц-полтора зачетной сессии 3—4 экзамена и с пятю зачетов, студент уже употребляет все лето на то, чтобы забыть экзаменационный кошмар со всеми его переживаниями и **начисто позабыть** то, что он наспех за сессию нахватал.

А почему бы не отвести вообще все годы учебы не на безделье и зубрежки, а на творческую работу на семинарах — с выставлением зачетных баллов **именно на них** — ведь там преподаватель видит, занимаетесь ли вы или халтурите, сколь регулярно вы вообще посещаете семинар, да и вообще как ваша голова варит, какие у вас способности. Здесь надо учиться **мыслить**, а не **что-то наспех вызубривать**. А при окончании учебы можно сдать пару экзаменов по профилирующему предмету, который вы пять лет **на семинарах** «проходили», лучше сказать, изучали. Говоря о профилирующем предмете, я имею в виду и историографию по нему. Нет, средневековым было у нас обучение... в XX веке!

Кстати, очень мало было у нас семинаров по философии, в основном нас заставляли выслушивать лекции профессоров, скучно читающих нам свои книги или наброски статей или просто свои статьи. Особенно злоупотребляли этим лекторы по истории русской философии — на нас обрушивался бессвязный набор цитат с обязательными трафаретными наклейками к каждому таким образом освещаемому философу: «Вплотную подошел к диалектическому материализму», «остановился перед историческим материализмом».

О преподавании русской философии скажу особо. Лекции И.Я. Щипанова, М.Т. Иовчука, Г.С. Васецкого отличал невероятно убогий теоретический уровень. Знание мировой философии, включение в нее русскую считалось ненужным, все зарубежные связи русских философов (особенно в период борьбы с так называемым «космополитизмом») просто замалчивались. Зачеркивалась вся русская идеалистическая философия, ставившая глубокие мировоззренческие проблемы,

о философских взглядах Достоевского, Льва Толстого, Вл. Соловьева, кроме клички «поповщина», мы ничего не слышали.

Скрывалась *относительная бедность* русской материалистической традиции. Россия дала немного выдающихся и приближающихся к мировому уровню материалистических произведений: «О человеке, его смертности или бессмертии» — Радищева, «Писем об изучении природы», «Дилетантизм в науке» — Герцена, «Материализм и эмпириокритицизм» — Ленина, интересные работы Плеханова. Профессоров-дуалистов XVIII века, последователей философа Вольфа, проф. Щипанов путем оборванного цитирования и в лекциях, и в диссертации, и в книге превращал в «материалистов», попадали в их число и отъявленные обскуранты — так «умножалась» материалистическая традиция!

Сам акцент в изложении русской философии делался неверно — ее на самом деле интересовала сфера политики, социологии, трудностей и перспектив революционного процесса в России. Такие темы, как «цена революций» у Радищева или у Чернышевского, тема «цикличности революций», снятая Радищевым с изучения эпохи Кромвеля, а Чернышевским с пособий Шлоссера о Великой французской революции, тождественность систем абсолютистских и постреволюционных, бонапартистских, «духовные драмы» отдельных революционеров — как «узловые точки» развития революционной теории, вообще не существовали и в помине в головах преподающих нам «русскую философскую мысль». Торжествовал «Краткий курс», под схемки которого так или иначе пытались подтянуть всех мыслителей.

Факты искажались беззастенчиво. «Материалистическая традиция» в России выступала в виде сплошной линии, хотя в царской России ее прерывали репрессии и все приходилось начинать сначала. Никакого «закона сохранения вещества» Ломоносова Радищев вообще не знал, его занимала мировая проблема: столкновение аргументации школ французского материализма и немецкого идеализма в понимании такой проблемы, как смертность или бессмертие человека. Декабристы вовсе не «вышли из Радищева», его «Путешествие...» читали (в рукописи) 2—3 декабриста, да хранил как величайшую реликвию, купленную за безумные деньги, Пушкин. Не было никаких следов знания «Путешествия...» Радищева у Белинского в его драме «Дмитрий Калинин», как нас уверяли в лекциях преподаватели. Стрижка купонов за никем не читаемые пухлые сборники своих творений — вот что интересовало более всего «патриотов» и «первопроходцев» в области русской философии типа Щипанова или Иовчука, Гагарина или Тараканова.

На фоне этих «специалистов», воспитанников сталинско-ждановской «школы» прихлебателей и подхалимов, выделялись своими зна-

ниями и педагогическим талантом профессора других специальностей. Высшую математику превосходно растолковал нам хорошо поставленным голосом, расхаживая по аудитории, проф. Тумаркин, был он и прекрасным воспитателем. Я у него ответил на экзамене хорошо, но вот с задачкой не справился, ошибся при ее решении. «Даю вам пять минут, — сказал он мне и засек время. — Найдете свою ошибку — получите пять. Не найдете — ставлю тройку». Через четыре минуты найденное мною решение лежало у него на столе, а я в восторге выскочил из кабинета, где сдавал экзамен.

Довольно любопытное происшествие случилось у меня на зачете по истории Средних веков, который принимала у нас проф. Сидорова. Мне в руки перед самым зачетом попался какой-то учебник, и я заметил различие его с прочитанными ею лекциями. Детали за давностью лет не помню, помню суть проблемы: Киевскую Русь никак нельзя ставить на одну доску со средневековой монархией Карла Великого. Киев IX—XI веков был торговым государством с сочетанием раннефеодальных отношений с *чисто рабовладельческими*. Киевские князья, совершая *«полюдье»* (обратите внимание на термин!), прихватывали с собой не только мед и меха, но и крестьян-общинников, которыми торговали на рынках Византии, о чем наши лекторы из патриотических соображений помалкивали. Пока я все это изучал, прошло много времени, и я на четверть часа опоздал на сдачу зачета Сидоровой. «Я вам сейчас поставлю такой зачет, что не обрадуетесь!» — откровенно пригрозила она мне. «А я вот выяснял, почему Вы рабовладельческие отношения в Киевской Руси замалчиваете, — ведь князья продавали крестьян-общинников на рынках Византии!» «Ну-ка излагайте мне все это поподробнее», — сказала она и по ходу моего рассказа стала мне возражать. Спор наш длился примерно час, и она призналась мне: «Жаль, что у нас зачет. Я бы поставила Вам пять, хотя я с Вами не согласна...». Детали спора я не помню, впереди у меня были еще два каких-то зачета...

Кстати, похвастаю немного. На нашем курсе было всего два человека, которые сдали все экзамены на пять! Это покойный Игорь Блауберг, у которого была феноменальная память, да и способности немалые, и я. В 3-м классе школы я изобрел метод вычленения смысловых узлов в любом тексте, стал их запоминать и по ним отвечать — *после чего потерял память*. До этого я мог за один вечер заучить наизусть поэму Некрасова «Мороз Красный нос», а потом все мои способности исчезли, но я *учился мыслить*, изготавливая что-то вроде расширенной шпаргалки, которую и запоминал и которая обеспечивала мне 5 и в школе и в университете. Правда, память после моих ответов становилась снова чис-

та — но я был и остаюсь восприимчив к освоению любых новых сюжетов и их проработке. Мне кажется, что я бессознательно освоил формулу Гераклита: «Главное — научиться мыслить. Многознание не научает уму». Цитирую по памяти и потому чуть неточно. Но смысл завета Гераклита именно в этом.

Надо сказать, что суть моего метода моим друзьям — Льву Митрохину, ныне умершему, Лене Филиппову, рано от нас ушедшему, да и Игорю Блаубергу, ныне тоже покойному, — пришла по душе и они часто заезжали в летнюю сессию ко мне на дачу в Лосиноостровскую, про которую я упоминал. Мы уединялись в беседке и там «прорабатывали» вопросы к экзаменам.

Отточие вместо имени знаменитого «отрицателя» Лютера

О том, что что-то неладное творится в «Датском королевстве», мы стали замечать едва ли не на первом курсе. Бесследно исчезли с курса несколько студентов, имевших самостоятельное суждение о советской жизни или слушавших заграничное радио. Мы все знали, что «брал» их КГБ, но никаких разговоров или обсуждений по этому поводу на курсе никогда не было. С третьего-четвертого курса некоторые студенты стали избирать себе сугобо «беспартийные» темы для дипломов, да и свою специализацию вообще (И. Блауберг, В. Тюттин и другие). Мы с Ю. Карякиным закончили 5-й курс с «боевыми» дипломами: я — по «ленинской теории революции 1905—1907», мой друг с дипломом «Борьба тов. Сталина за мир» (перед этим прошел XIX съезд КПСС с соответствующей речью Сталина).

Но вот в аспирантуру по профилю «история русской философии» мы шли с совершенно сознательной целью — начать борьбу с засильем щипановых в этой области знания. Если бы мы знали, в какое осиное гнездо мы залезали и с какими изощренными бойцами «сталинско-ждановской» школы погромщиков нам придется иметь дело! Нам не смогли помочь ни вставшие на нашу сторону молодые преподаватели кафедры истории русской философии, которой руководил И.Я. Щипанов, — Г.С. Арефьева, В.И. Бурлак, И.М. Панюшев — их в конце концов уволили из МГУ, ни профессора А.В. Западов, Шапкарин (имя-отчество забыл), П.А. Зайончковский, которым в конце концов пришлось разбирать суть нашего конфликта с заведующим кафедрой русской философии проф. И.Я. Щипановым и которые совершенно искренне пытались нам помочь. Материалы и выводы их комиссии никто при разборе

нашего дела в Ученом совете МГУ учитывать не захотел — слишком мощная поддержка в «верхах» была у Щипанова...

Начало нашей трехлетней *борьбы за науку* положила, как мне припоминается, реплика Щипанова, сделанная по ходу моего выступления на кафедре, было это в самом начале нашего с Юрой Карякиным и Леней Филипповым обучения в аспирантуре. Когда Иван Яковлевич услышал произнесенную мной фразу: «Автор статей «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевский высоко ценил диалектику Гегеля», он тут же злобно отреагировал: «Я не потерплю космополитизма на моей кафедре!». Мы с друзьями были к тому времени достаточно начитаны в его «трудах», чтобы я мог достойно возразить ему: «А Вы не искажайте историю русской философии!».

Дальнейшую перебранку на кафедре я уже не помню, но запомнил, что на другой день я был вызван пред ясны очи Ивана Яковлевича Щипанова (он же руководитель диссертации Карякина) и Михаила Трифоновича Иовчука (он же руководитель моей диссертации). Собеседники без обиняков предложили мне «не мутить воду на кафедре» и не «мнить о себе слишком много». Я в ответ пообещал вынести все наше дело на суд партийных инстанций МГУ. В то время они, плохо ли, хорошо ли — об этом узнает читатель в своем месте, — но все же вроде бы должны были контролировать поведение философского начальства на нашем Факультете.

Наша первоначальная тактика была весьма проста — мы ее выработали сообща всей «тройцей» (Юрий Карякин, Леня Филиппов и я), лежа на полянке перед библиотекой университета. На тех самых «антибеллещкианских» партсобраниях, которые тянулись на факультете годами, я стал систематически просить слова и выступать. Тянул я одну и ту же явно не попадающую в общий тон собраний ноту: а у нас на кафедре истории русской философии ее заведующий И.Я. Щипанов систематически фальсифицирует первоисточники!

Повторялось это столь систематически, что партбюро деканата вынуждено было отреагировать на критические сигналы, звучавшие на партийном форуме. По его настоянию декан факультета, мы помним, что им был друг-приятель проф. И.Я. Щипанова В.С. Молодцов, создал из профессоров факультета вполне авторитетную комиссию, во главе которой поставил совершенно беспристрастного почтенного преподавателя логики Павла Сергеевича Попова, о котором я уже рассказывал. Нас троих пригласили на заседание ученого совета факультета, разбиравшего все это «дело».

Вспоминается длинный стол, покрытый зеленым сукном, за которым мы, трое аспирантов, уселись рядом с профессорами факультета,

докторами философских наук. И всем нам Павел Сергеевич вполне серьезным тоном (я не говорю «серьезным образом») доказывал, что когда Иван Яковлевич цитирует одно из писем Белинского Боткину: «Отрицание мой бог. В истории мои герои — разрушители старого... Вольтер, энциклопедисты, Байрон и т. п.» (отточие поставлено вместо имени **Лютер**), то абсолютно ничего ненаучного в этом нет: авторы часто вынуждены бывают сокращать (на пять букв!) текст приводимых ими слишком длинных цитат (ничего более умного Павел Сергеевич не придумал).

А ведь от читателей (впрочем, я сильно сомневаюсь, чтобы кто-то в здравом уме читал творения Щипанова) Иван Яковлевич своим отточием скрыл целый идеологический переворот в Средневековье, именуемый Реформацией. Инициатором ее в Европе был безвестный монах-революционер, «великий отрицатель» Мартин Лютер, прибывший в роковой для католичества день 31 октября 1517 года к дверям церкви в Виттенберге свои тезисы, оказавшие «воспламеняющее действие, подобное удару молнии» (Энгельс), потом он же публично сжег папскую буллу, отлучавшую «еретика» от церкви.

На каком позорно низком уровне стояла наша «академическая философская наука» и чего стоила вся молодцовская комиссия, ни в чем не поправившая своего председателя, она вполне разделяла все его «доказательства»! Но, впрочем, грех упрекать достопочтенного Павла Сергеевича в надругательстве над исторической наукой и ее фактами — ведь пикни он что-либо критическое по адресу научной «методики» Ивана Яковлевича, ему бы сразу же указали на дверь факультета. Совершенно безжалостно расправлялась молодцовско-щипановская клика со всеми, выступавшими с критикой порядков и «научных методов», насаждаемых на факультете. Но подробнее об этом чуть позже.

Не найдя правды у себя «дома», на Философском факультете, мы вышли, так сказать, на общесоюзный уровень. В 1955—1956 гг. все та же триада аспирантов (впоследствии к нам присоединится Игорь Пантин, на год отстававший от нас) уже дебютировала в журнале «Вопросы истории» со статьями «О произвольном обращении с источниками» (№ 9 за 1955 г.) и «К какой России принадлежал Антонский» (№ 9 за 1956 г.). В первой из статей был приведен с десяток примеров произвольного обращения с источниками в «трудах» наших «учителей», во второй — анализировалось «творчество» И.Я. Щипанова, превратившего в «прогрессивного мыслителя XVIII века» (надо же было увеличивать их число!) вполне благонамеренного почитателя Царя и Бога Антона Антоновича Антоńskiego, высмеянного зло и безжалостно самим Николаем Добролюбовым!



Борцы со щипановщиной: Ю. Карякин, Е. Плимак,
Л. Филиппов (слева направо). 1953—1956 годы.

Но торжествовать нам по поводу вышедших наших публикаций не пришлось... Как раз в 1955—1956 гг. саму редакцию «Вопросов истории» погромили партийные высшие инстанции — А.М. Панкратова (Главный редактор журнала) и ее Зам (Э. Бурджалов) всерьез взялись за обновление нашей исторической науки, что было явно не по душе «инстанциям». Наши писания в «мятежном журнале» были ревнителям казенной науки, руководимой С.П. Трапезниковым, ровным счетом ни к чему, их просто «не заметили»...

Чудеса в редакциях «Литературной газеты» и журнала «Партийная жизнь»

Потерпев второе, более серьезное свое поражение, мы не успокоились и передали материал об «обработке» И.Я. Щипановым Антонского в «Литературную газету»: тема подходила вполне к ее профилю, тем более, что в деле был замешан Добролюбов. Фельетонист «Литературки» (кажется, это был сотрудник «Правды» Рябов) нашел прекрасный заго-

ловок «Сверчок на пьедестале» и сделал столь же прекрасный текст. Мы прочли его еще в гранках и с нетерпением ждали выхода очередного номера газеты. Фельетона там не оказалось. От сочувствующих нам сотрудников газеты мы узнали, что главного редактора «Литературки» (фамилии его я уже не помню) посетили Иовчук и Шипанов (вот она, редакционная тайна!) и долго с ним беседовали. Главный фельетон снял... Кто информировал наших «руководителей», я до сих пор не знаю, думаю, все тот же Главлит.

Пережив третье свое поражение, мы свой следующий разоблачительный материал передали уже в партийный орган — редакцию журнала «Партийная жизнь», она как раз готовила редакционную статью «О принципиальности в научной работе». К тому же наш материал попал в руки сотрудника журнала А.С. Ковальчука, который не терпел Иовчука. Ему мы и представили факты о перелицовке в докторской диссертации И.Я. Шипанова (мы «углублялись» в его «труды») безобидных профессоров МГУ XVIII века — вольфианцев в «материалистов». Знаменитый в XVIII веке философ Вольф был, как известно, дуалистом и к тому же наводнял свои труды рядом изречений-афоризмов, подобрать из них «материалистические», как выговаривал это слово Иван Яковлевич, не стоило никакого труда. Кроме того, в той же своей докторской он превратил переводной (с немецкого) «Политический журнал» времен Французской революции из реакционного в «прогрессивный»! Был и материал о фальсификации И.Я. Шипановым и М.Т. Иовчуком философских взглядов В.Г. Белинского. Сам Ковальчук добавил к нашим материалам факты «беспринципности» и даже нарушений инструкций ВАКа Иовчуком — он так и не представил «контрольного» экземпляра своей диссертации в Ленинскую библиотеку. Действительно, его докторская «Из истории русской материалистической философии XVIII—XIX веков» как в воду канула — ее нельзя было найти даже на нашей кафедре, где он у Шипанова защищался. Подобное же происшествие случилось с диссертацией некоего П.П. Иониди «Мировоззрение Д.И. Менделеева» и пр.

Редакционная статья «Партийной жизни» — мы выверяли свои примеры в ее гранках и знали совершенно точно — кончалась вопросом: достойны ли такого рода «ученые» занимать руководящие посты в философской науке? Но статья оказалась... бумерангом! Получив в свои руки только что вышедший номер журнала, мы увидели, что некие *таинственные силы* в корне изменили ее смысл. Они заменили прежний вывод статьи на совершенно новый, противоположный: «Такие, несущественные в плане всей работы факты небрежности, — говорилось после наших «разоблачительных» материалов, — дают повод

необъективным критикам (!), к сожалению, порочить в целом серьезные научные исследования» (см.: «Партийная жизнь», 1956. № 9. С. 32; курсив мой. — Е.П.).

Из телефонного разговора с Ковальчуком выяснилось, что таинственными силами, посетившими главного редактора журнала Абалина (не знаю его имени-отчества), были все те же М.Т. Иовчук, И.Я. Щипанов, но теперь уже вместе с проф. А.П. Гагариным — тоже с кафедры Щипанова...

Но на этом дело не кончилось. Вскоре после этих событий главный редактор «Партийной мысли» был найден мертвым у газовой плиты с открытыми им конфорками, он кончил жизнь самоубийством. Ковальчук уверял меня в повторном с ним разговоре по телефону, что у «главного» были как раз в ту пору семейные переживания. Дочь Абалина, с которой Ю. Карякин познакомился пару лет спустя, категорически версию Ковальчука отвергла. Но как бы там ни было, «чудеса», творимые в редакции «Партийной жизни» щипановской профессурой (кто ее обо всем информировал — Главлит?), вряд ли поднимали жизненный тонус Абалина. В общем, это была именно та пресловутая «критика и самокритика», которую прославлял «тов. Жданов» на Философской дискуссии 1947 года, как «движущую силу нашего общества» и философской науки в том числе...

«Решающий удар» профессора Западова

Мы между тем не успокаивались, тем более, что одна из поддерживавших нас преподавателей В.Н. Бурлак была избрана в партком факультета, получила доступ к партийным документам И.Я. Щипанова и узнала потрясшие и ее, и всех нас сведения — Иван Яковлевич имел в прошлом строгое партийное взыскание... за растление малолетних детей! В общем, это был тот еще прохвост, который во времена Отечественной укрылся благополучно за стенами МГУ! Ю. Карякин, которому В.Н. Бурлак эти сведения сообщила, немедля включил разоблачительную информацию в нашу специальную папку о Щипанове, но умудрился забыть папку в одной из телефонных будок вблизи МГУ. Нашелся какой-то доброхот, который папку обнаружил, а поскольку в ней шла речь о кафедре русской философии МГУ, он и отнес папку на эту кафедру, передал утерянный Юркой материал в собственные руки Ивана Яковлевича. Тот понял, что борьбу с ним ведут не на жизнь, а на смерть. Кстати, как мы впоследствии узнали, спасал Ивана Яковлевича от исключения из партии и отправки на фронт его «доброжелатель»,

впоследствии академик и Секретарь ЦК П. Н. Поспелов. Впрочем, в этих кругах за услугу платили услугой...

Позднее, работая референтом у академика Деборина, я поинтересовался, как это Поспелов, научных работ не имевший, стал академиком (кстати, А. М. Деборин его глубоко презирал). «Как стал? — переспросил меня Деборин. — Да к нам в партийную организацию АН СССР прибыл представитель ЦК, который обязал нас (!) голосовать за Поспелова». «Но ведь выборы были тайные?» — продолжал я расспрос. «Да, подтвердил Деборин. — Но кто же решится нарушить инструкцию ЦК?» (то есть того же Поспелова!). Это была еще та партийно-номенклатурная практика! А вот в наши времена самые разные деятели, ничего не ведая в науке, за десятки тысяч долларов зачастую покупают себе «для престижу» и докторские диссертации и высокие научные звания, были бы только деньги. Это еще чище прежних времен... То, что было раньше *продажно-партийным*, ныне стало *денежно-продажным*! Что лучше — не знаю.

И все же, поскольку в партийную печать просочились критические материалы о положении на кафедре Щипанова, а на одной из общезнаменитых партийных конференций, где «тов. Суслов» делал нам доклад о решениях XX съезда КПСС, я лично передал в его руки очередное наше послание о делах, творимых на кафедре. «Тов. Суслов» обещал разобраться в деле, и оно снова закрутилось. Была по распоряжению «сверху» назначена уже университетская комиссия, расследовавшая состояние дел на нашей Кафедре и ее заключение должно было слушаться на Ученом совете университета! Чаша весов вроде бы стала перетягивать в нашу сторону, тем более, что в комиссию вошли серьезные ученые-специалисты по XVIII—XIX векам профессор-журналист и тоже Зав. кафедрой — истории журналистики — А. В. Западов, знаток литературы XVIII века не понаслышке. Был представлен в комиссии известный наш историк проф. П. А. Зайончковский, отнюдь не сторонник произвольного обращения с источниками (он оспаривал фальсификации самой акад. Нечкиной).

Проф. Западову — председателю комиссии Ученого совета МГУ — мы передали все разоблачительные материалы, собранные нами, в том числе и лишавшие Щипа (так звали Щипанова в студенческом и аспирантском обиходе) докторского звания. Это был отзыв проф. Гагарина — одного из официальных оппонентов на защите докторской Щипанова. За исключением первых двух абзацев отзыва Гагарина... был списан с автореферата самого Щипанова, о чем тот не мог не знать. Так что впереди было лишение проф. Щипанова докторского звания за *прямое жульничество* и в лучшем случае — повторная защита (а и на

первую едва собрали кворум — никто не хотел приходить из членов Ученого совета факультета).

Но А.В. Западов не включил как раз *главные наши данные* в отчет Комиссии — он попридержал их для своего эффектного *завершающего все исследование удара* по щипановской своре на самом Ученом совете МГУ. Там он выступил — мы, трое аспирантов, присутствовали на этом спектакле — с блистательной разоблачительной речью, абзац за абзацем сравнивая тексты автореферата Щипанова с отзывом проф. Гагарина, доказывая полную идентичность текстов и соискателя докторского звания и его официального оппонента... Прямое *жюльничество* было налицо!

О, святая профессорская наивность! А.В. Западов полагал, что решения Ученого совета по кадровым вопросам и судьбе самого Зав. кафедрой проф. Щипанова и *будут приняты самим* Ученым советом МГУ! Но они в отношении Философского факультета МГУ были приняты *до заседания* Ученого совета МГУ, **совсем на другом уровне**, в тех инстанциях, где безраздельно царствовал Поспелов. Видимо, он и провел решение Ученого совета — помню точно: сделать замечание (!) проф. Щипанову. И никакие громы и молнии, которые метал на **самом заседании Ученого совета** Председатель Комиссии, требуя лишения проф. Щипанова докторского звания, помочь не могли. Никто не поднял голоса на сей счет. И, получив всего лишь безобидное «замечание», Щипанов начал при помощи своего приятеля-друга Молодцова, как мы помним, декана факультета, **погром неугодных ему преподавателей на своей кафедре.**

Погром на философском факультете

Вскоре после XX съезда КПСС (!) с кафедры Щипанова стали срочно изгонять самых молодых и перспективных преподавателей, которые поддержали нашу критику в адрес И.Я. Щипанова и М.Т. Иовчука (последний, кстати, работая в ЦК, включил *сам себя* в утверждаемый список член-корргов, за что был сослан в Минск на некоторое время после своего «избрания»). Инвалида Великой Отечественной И.М. Панюшева (он лишился на войне обеих ног) уволили просто «по сокращению штатов» на факультете, хотя он был безупречным преподавателем. Г.С. Арефьеву и В.Н. Бурлак уволяли более хитроумным способом. По философскому факультету деканат издал приказ, по которому на кафедре русской философии... ликвидируются должности преподавателей, не имевших звания доцентов. Такового звания Г.С. Арефьева

и В.Н. Бурлак не имели, и собравшемуся 3 июля 1956 года ученому совету философского факультета МГУ предстояло принять решение: то ли присвоить Г.С. Арефьевой и В.Н. Бурлак звание доцентов, то ли уволить их, как звания не имеющих. Последнее решение было подготовлено организационно — сочувствующие молодым и талантливым преподавателям профессора-члены Ученого совета В.Ф. Асмус, П.С. Попов, О.В. Трахтенберг или находились в отпусках, или болели, остальные проголосовали «как надо», хотя голосование «как надо» чуть было не сорвалось, оно дало такой итог: 8 — за изгнание, 7 — против. Впрочем, талантливую молодежь «выживали» с философского факультета всеми доступными средствами и способами: фамилии Э. Ильенкова, В. Коровикова, А. Зиновьева известны не только в философском мире, да и список мой неполон — многого я не знаю. П.А. Зайончковский попытался было, кажется, через газету «Известия», побороться за «честность в науке», но какая, спрашивается, «честность» была у Молодцова, Щипанова или переписавшего его автореферат Гагарина? Глас П.А. Зайончкова так и остался «гласом вопиющего в пустыне» — все *соответствовавшие* мнению ЦК решения Ученый совет МГУ принял — чего профессору еще надо?

Вышвырнуть за пределы философского факультета и даже всего «философского фронта» вообще трех аспирантов было уже совсем просто — все трое не представили текстов своих диссертаций, таковые были не написаны, время затрачено на борьбу с «непробиваемыми» И.Я. Щипановым и М.Т. Иовчуком и на... изучение работ Николая Бердяева. В аспирантуре мы получили наконец-то доступ в «спецхран», наткнулись в каталоге на «Русскую идею» Н. Бердяева, занялись с увлечением ею, затем другими его трудами и журналом «Путь» — в них было что-то интересное по сравнению с «серыми лошадьми», как прозвали студенты предназначенные к проработке казенные советские учебники. Правда, вот сдача кандидатских минимумов проходила у нас теперь с приключениями...

О том, как я и Ю. Карякин пользовались на экзаменах «шпаргалками»

В 1956 году к нам, троим «бунтарям», стали уже просто придирааться, и я впервые за все время пребывания в МГУ при сдаче кандидатского минимума по истории марксистской философии заработал первую свою четверку, хотя отвечал, как обычно, на добротное пять. А вот Ю. Карякин чуть вообще не погорел. К Л. Филиппову придраться так и не смогли...

И.Я. Шипанов, устроив погром на кафедре, сохранив свой пост и звание, вообще говоря, был даже готов сменить в отношении нас гнев на милость — в его распоряжении были вакантные должности, а при распределении на работу после учебы в МГУ его слово было на Комиссии решающим. И вот, встретив как-то Ю. Карякина на улице, он даже бросился к нему с возгласом «Юрочка!». «Пошел ты... растлитель малолетних», — ответил ему Карякин. Но вскоре самому Карякину уже пришлось отвечать на заседании кафедры... за пользование «шпаргалкой»...

Человек все-таки слаб и совершает «грешные дела». Одно из них — удалюсь снова в свое студентческое прошлое — случилось со мной еще при вступительных экзаменах в МГУ в 1948 году, когда я едва сам не сорвал свои экзамены. Получив три пятерки — за сочинение, литературу и историю, я без особых тревожений пошел на сдачу предпоследнего экзамена — по географии. Достался мне билет по Северному Кавказу (актуальнейшая ныне, но не тогда тема). Стал я готовить свой ответ, сидя в одной из аудиторий, где принимала экзамен какая-то неприятная дама — брюнетка лет под 55. И на глазах у меня она своими коварными вопросами явно «заваливала» парня в военной гимнастерке, так что и получить желанную «тройку» он едва ли бы смог — бывших фронтовиков принимали тогда в МГУ вне конкурса, даже при самом низком балле 15. Почувяв явную нелюбовь этой дамы в людям в гимнастерках, а таковая была и на мне, я решил подготовиться получше и вытащил потихоньку свои планчики. Экзаменатор как будто этого момента только и ждала. Она тут же подскочила ко мне, с восторгом схватила все мои «смысловые схемы». До ее вопросов ко мне дело вообще не дошло — я был немедленно отстранен от сдачи экзаменов.

Что оставалось мне делать? Надел я свою армейскую форму, нацепил все регалии — два офицерских ордена и две солдатские мои медали — и пошел в партком МГУ, на прием к тогдашнему секретарю парткома, кажется, им был Прокофьев, будущий министр образования СССР. Ему я рассказал свою историю с географией, кое-чем ее приукрасив — сказал, что готовился к экзамену в поезде Берлин—Москва, а тут увидел, как бывших фронтовиков явно заваливают... Он подумал немного и спросил: «А как с остальными предметами?» — «Три пятерки», — ответил я. «Ладно, — сказал он, — я отдам распоряжение, чтобы тебя снова допустили к экзаменам, а твой случай мы будем разбирать особо на Приемной комиссии, учитывая все твои баллы, случай все-таки неприятный». Как комиссия решит, так и поступим.

Ту же географию СССР я сдал снова какому-то доброжелательному армянину-географу и получил 5. Всего при максимуме «25 баллов»

я имел «25 баллов». Приемной комиссии — я на ней сам не был — ничего не оставалось сделать, как принять меня в МГУ: 25 — это все же не проходные 15 для бывших фронтовиков... Так и стал я студентом МГУ, ныне вот в первый раз об этом «срыве» своем рассказываю. Как я мог тогда при приеме «погореть»!

А вот Ю. Карякин «погорел» на «шпаргалке» уже при окончании аспирантуры. Мы сдавали тогда кандидатский минимум по истории зарубежной философии, и Юрка зачем-то притащил с собой на экзамен толстенный свой конспект «Пролегоменов» Канта и выложил его на стол перед собой. Зоркая проф. Фомина, специалист по Плеханову между прочим, заметила на Юркином столе какой-то посторонний предмет и немедленно подошла к столу. Она прочла на машинописном тексте Юркиного конспекта заглавие «Пролегомены Канта», а затем обратилась к нему: «Покажите мне Ваш билет». В нем значилось: «Пролегомены Канта». Разумный преподаватель постаралась бы все же выяснить, сам ли Юрка составил такой громадный конспект. И, узнав про его старания, предложила бы поставить ему 5. Но разумом Бог Фомину обидел, она поступила «принципиально»: отстранила Юрку от экзаменов за пользование «шпаргалкой» — мне он потом клялся, что в конспект вообще не заглядывал! А Юркину «шпаргалку» — как вещественное доказательство — Фомина передала Ивану Яковлевичу; тот устроил заседание кафедры по такому торжественному случаю.

Ход заседания я помню плохо. Запомнился лишь отвислый, перехваченный пояском живот стоявшего недалеко от меня проф. Гагарина и его речь. Сей «честнейший» муж науки требовал загонять «нечестных аспирантов» куда подальше — вроде бы на Дальний Восток. Но до этого дело не дошло. Как раз в этот момент член кафедры М.Т. Иовчук «засыпался» на посещении какого-то тайного борделя, устроенного для московской номенклатуры, и И.Я. Щипанов в неясной обстановке решил не раздувать Юркино дело. Юрке дали возможность досдать экзамены, получил он свои 5, да и так или иначе предстояло наше прощание с кафедрой.

Все мы трое (Пантин отставал от нас на год и писал диссертацию) были просто отчислены из аспирантуры, как не подготовившие своих диссертаций. Устраивались мы кто как мог, кто где. Л. Филиппов — на Факультете его именовали за мягкость и отзывчивость «Ленечка Филиппчик» — попал в редакцию журнала «Наука и религия», где стал душой коллектива и вырос с должности младшего редактора до Зам. Главного редактора. Лет через 10 он защитил и сложнейшую кандидатскую диссертацию о системе религиозных взглядов Чаадаева. Ю. Карякин попал в журнал «История СССР» — помогло знание ино-

странных языков, получил он должность Зав. Отделом «История СССР и рубежом». В дальнейшем он работал в Праге, частенько писал статьи — что это ныне скрывать — за разных генсеков заграничных компартий, поездил по свету. Я занял его место в том же журнале «История СССР» и в той же должности — языки я все же знал. Но это было позже, на первых порах — благодаря связям Юрки в научном мире — я стал референтом у акад. А.М. Деборина, которому разрешили тогда печатание его трудов (об этом — в следующем разделе).

Пока же я поведаю о событиях печальных. Вскоре после своей ашкиты Л. Филиппов умер — его родные (среди них — врач!) проморгали на даче аппендицит и лечили его «шалившую печень» грелками. Умер он под ножом хирургов — с огромным перитонитом они уже не справились. Что было с его матерью — описать не могу: единственный сын...

Это было время воспоминаний и посещения могил — у Юрия умер отец, рядом оказались свежие могилы И.Я. Щипанова, Н.Г. Тараканова, Л.Н. Суворова — все ухоженные. Смерти нет дела до дел человеческих — косит и хороших и не столь хороших людей.

О неизбежной встрече со смертью частенько задумываемся и Юрий, и я, оба стали прадедами, а в этом звании люди обычно долго на земле не задерживаются. Но не собственная смерть тревожит нас больше всего. Больше всего раздумываем и пишем мы о возможности кончины всего рода *Homo sapiens* на планете. Впрочем, с Ю.Ф. Карякиным разошлись в последние годы наши пути... В моей научной жизни многие из моих друзей становились моими соавторами: И.К. Пантин, А.И. Володин, В.Г. Хорос, М.Е. Козлова (дочь); Ю.И. Игрицкий — всем им таланта не занимать. Но вот теперь, на склоне лет, остался один только друг-соавтор Вадим Степанович Антонов — человек громадной эрудиции и способностей. За его плечами десятилетия заведования редакциями «История СССР», «Отечественная история» в Издательстве «Мысль», знание всех ключевых моментов советской истории, что помогло нам поставить и решить в журнале С.В. Тютюкина «Отечественная история» проблемы «Заговора Тухачевского» и «Убийства Кирова». Это статьи: «Тайна “заговора Тухачевского” (Невостребованное сообщение советского разведчика)» // Отечественная история, 1998. № 4; «Факты, которыми мы располагаем, внушительны. О книге “Был ли Сталин агентом охранки?”» // Отечественная история, 2001. № 2; «1 декабря 1934 года: Трагедия Кирова, трагедия Советской России» // Отечественная история, 2004. № 6. В этих статьях — если подходить непредвзято — дано *решение* многолетних споров.

Определение «щипановщины» А. Галактионовым и П. Никандровым

В нашей постперестроечной литературе давно уже бытуют термины «сталинщина», «ждановщина», с их содержанием читатель, думаю, знаком. Но родилось еще в годы нашей борьбы в аспирантуре чем-то кровно связанное с этими терминами понятие «щипановщина», надо с ним теперь поподробнее разобраться.

О «щипановщине» наши тогдашние ленинградские друзья, да и соратники по борьбе за науку, историки русской философии профессора Анатолий Галактионов и Петр Никандров (вскоре трагически погибший) писали так: «Когда в первые послевоенные годы выдвинулся в нашей идеологии на первый план вопрос о «национальной самобытности воззрений русских мыслителей», некоторые деятели в философии стали доказывать эту «самобытность» путем противопоставления российской мысли западной, путем так называемого анкетно-цитатного метода — метода подгонки философских взглядов Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевского, да и Писарева под схему сталинской работы «О диалектическом и историческом материализме». Наилучшим примером такого рода сочинительства могут служить статьи и брошюры И.Я. Щипанова, много писавшего в те годы по истории русской философии. Небрежное обращение с источниками, примитивный стиль, схематизм и антиисторизм и нетерпимость к иным научным мнениям — все это синтезировалось в особом понятии «щипановщина», кем-то очень удачно употребленном в печати» (Галактионов А., Никандров П.Ф. Русская философия XI—XIX веков. Л., 1970. С. 48).

С академической точки зрения здесь все верно, но все дело в том, что по отношению к «ученым» типа Щипанова, Митина, Иовчука и им подобным такая характеристика недостаточна — она не идет дальше *поверхности явлений*. Уже в годы борьбы против «щипановщины» мы все более осознавали, что столкнулись с деятельностью именитых тогда проходимцев, делавших карьеру (и немалые деньги!) на борьбе с «преклонением перед иностранщиной», «космополитизмом» и прочими «порочными явлениями» в идеологии, указуемыми «сверху». Кстати, карьеру, как показала усвоенная мною впоследствии школа Шлоссера—Чернышевского, можно делать на чем угодно: на революции, на реформе, и даже на «патриотизме». Шлоссер доказал это великолепно на примере Великой французской революции, а Чернышевский своим вольным переводом (и статьями), «подправившими» пособия Шлоссера, весьма акцентировал эти данные, углубив тему «мораль и революции». И для

нас, когда мы вошли в фазу либеральной реформы и узнали побольше о деятельности номенклатуры дореформенной и «реформаторской», — подобное не новость. Но не будем всех политиков валить в одну кучу — разные они бывают.

Но и шлоссеровское определение «люди, делавшие себе карьеру через посредство революции» не позволяет дойти до глубинной сути вещей, коль скоро мы начинаем применять это определение к «ученым» типа Щипанова. Подлинная глубина заключается в *кровавой стороне дела*, которая составляла — ныне это общеизвестно — суть «сталинщины» и «ждановщины»; связь «щипановщины», причем кровную, именно с этой стороной дела нам и предстоит теперь выяснить. Но для этого нужно сделать довольно большое отступление, вернуться к давним делам на кафедре Ивана Яковлевича, да и вообще на всем «*философском фронте*» — был такой обозначен в одном из главных докладов «тов. Жданова»...

Дискуссия о главе «Хотиллов» и лагерная пыль

В середине 50-х годов, когда мы с друзьями изучали на кафедре истории русской философии МГУ освободительную традицию в России, существовал в преподаваемой нам «науке» один простой критерий (возникший, впрочем, не без влияния ранних работ В.И. Ленина, именовавшего революцию «праздником угнетенных»). Ленину, как нас учили и чему в простоте душевной мы верили (о «духовных драмах» революционеров на кафедре нашей никто и не заикался) приписывалась такая «методология»: чем громче и яснее призывает тот или иной мыслитель к революции и восторгается ею, тем он «прогрессивнее». Если же он от революции отказался — это уже «ренегат». Кстати, применялся этот критерий не только нами, но и видными нашими историками Великой французской революции — Манфредом, Далиным, Захером, не устававшими восторгаться подвигами Марата, «бешеных» с Жаком Ру во главе, да и Бабефом. О Робеспьере и говорить нечего. К Сен-Жюсту относились осторожно — он как-то косо смотрел на выросший в 1794 году террористически-бюрократический механизм. Его и не переводили: чем-то не «тот». А вот о «снисходительных» — особенно Демулене, страстно обличившем робеспьеровские проскрипции в 1794 году, не писали; о Дантоне — мало, их не переводили, хотя ораторы они были великолепные (Демулен — и журналист). Играли в иные периоды они ведущую роль в революции. Вернемся, впрочем, к Радищеву.

Так вот, просматривая, кажется, в 1954 году на квартире у Ю. Карякина в Сокольниках, список «обязательной литературы» для прочтения (в аспирантуре нас начали наконец-то знакомить с первоисточниками) и готовясь к первому нашему кандидатскому экзамену по специальности, мы решали довольно сложную задачу.

Читать или не читать радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву»? Или же ограничиться прочтением пары брошюр о Радищеве, благо их напекли тогда — хоть отбавляй — и по ним сдать «минимум». Но здравый смысл взял верх, мы решили все же *прочесть* радищевскую книгу и с тем расстались. А через день-другой Юрка уже бежал ко мне, а я — к нему с одним и тем же открытием! Приписываемый самому Радищеву умеренно-либеральный проект постепенного освобождения крестьян «сверху», как нас учили в лекциях наши профессора и как значилось в большинстве брошюр о Радищеве (изложен этот проект в главе «Хотиллов» его книги), самому автору вообще не принадлежит!

Действительно, подъезжая к населенному пункту Хотиллов, путник слышит от ямщика, завершающего ранее начатый разговор: «То-то, барин! Всяк пляшет, да не как скоморох». Путник тут же относит эту поговорку к главе «Хотиллов», к помещенному в ней «Проекту в будущем»: «Всяк пляшет, да не как скоморох, — твердил я, вылезая из кибитки. Всяк пляшет, да не как скоморох», — повторил я, наклоняясь и подняв, развертывая...

ХОТИЛЛОВ

«Проект в будущем».

И еще одна реплика «путешественника», продолжающего разборку «хотилловских» бумаг: «...Я за благо положил лучше рассуждать о том, что выгоднее для едущего на почте, чтобы лошади шли рысью или иноходью, или что выгоднее для почтовой клячи — быть иноходцем или скакуном, нежели заниматься тем, что не существует» (*Радищев А.Н.* Полн. собр. соч. М., Л., Т. 1. С. 311, 321, 323).

Быть случайными все эти *скептические* замечания в адрес «Проекта в будущем», проекта освобождения крестьян «сверху», не могли. Вроде бы выходило, что Радищев критиковал или, точнее, намекал в своем «Путешествии...» на невозможность освобождения крестьян Екатериной и ее приближенными, чтобы противопоставить этому пути в главе «Медное» (при продолжении рассмотрения хотилловских бумаг!) свою принципиальную позицию революционера: не дивись, «установление свободы в исповеданиях обидит одних попов или чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, правособственно-

сти. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения» (Там же. С. 351, 352). Далее и следуют явно революционные призывы в главах «Тверь» (изложение оды «Вольность»), «Торжок», «Городня», да и заключительная глава «Слово о Ломоносове». В ней Радищев противопоставляет «ласкателю» царей Ломоносову Франклина, героя Американской революции, «исторгнувшего гром с небеси и скиптр из руки царей» (Там же. С. 356—358, 360, 333, 368, 388, 391).

Только десяток лет спустя, вчитавшись внимательнее в тексты Радищева, мы поняли, сколько важных деталей мы на первых порах упустили. Во-первых, автора «Проекта в будущем» «путешественник» Радищев именует «искренним другом своим», т. е. заявляет о солидарности с ним в отношении *содержания* проекта, отрицая только *возможность исполнения всех благих пожеланий* от самих «великих отчинников»! Хотилоские бумаги подняты, кстати, «путешественником» из «грязи», той самой, которую произвела ехавшая на юг России Екатерина II. Далее, *главным* для Радищева было *акцентирование трудностей* революционного пути; в «негладкости» стиха оды «Вольность» он видел изображение «*трудности исполнения самого действия*». Формулировала ода «Вольность» и некий устрашающий «закон природы» — закон «цикличности» революции: «*Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...*». Но поначалу мы истолковали все в прямолинейном «ленинском» духе: Радищев критикует «дворянских либералов» XVIII века — и, сделав такое «открытие», побежали навстречу друг другу. «Да за такое открытие Сталинскую премию (!) дать могут», — возразился я при нашей встрече. «Тщеславный ты человек», — сказал мне Карякин при одной из наших с ним встреч, вспомнив этот эпизод и мои глупейшие восторги. Я не стал возражать, хотя мог сказать, что, судя по поведению Карякина в жизни, тщеславия у него самого было хоть отбавляй...

Но хотя никто не учил нас на философском факультете изучению *историографии* предмета исследования, у нас все же хватило ума углубиться в серьезную литературу о радищевском «Путешествии...», и мы поняли, что изобрели велосипед, который уже давно изобретен! Оказалось, что иные литературоведы, которые не занимаются выхватыванием «нужных» цитат из его главного произведения, как философы делают, а изучают *композицию* произведения, еще в 1930—1940-е годы начали выходить к проблеме *эволюции* воззрений «путешественника» в книге во время его «поездки» из «Петербурга в Москву». Ни Г. Гуковский, ни Г. Макогоненко, ни Н. Громов, ни С. Елеонский, ни А. Васильева (со многими из них мы познакомились и лично) «Проект в будущем»

самому Радищеву не приписывали — последним отличались люди, именовавшиеся специалистами по русской общественной мысли XVIII века, но совершенно ее не понимавшие; главным для них был не *смысл* произведения, а *вырванные* из него цитаты! Мы тут же написали залихватскую статью «О трех оценках «Путешествия...» Радищева в советской литературе» (машинописный текст) и предложили обсудить ее на кафедре. Щипанова и его сторонников мы обвиняли в сокрытии «подлинной революционности» Радищева! Об общеевропейском крахе «Царства Разума» и трагедии Радищева, осудившего в «Песне исторической» террор Робеспьера, мы тогда и не подозревали, все это пришло десять лет спустя и было отражено в моей статье «Радищев и Робеспьер», принятой А.Т. Твардовским и напечатанной в № 6 журнала «Новый мир» в 1966 году, а потом в совместно с Карякиным изданной книге «Запретная мысль обретает свободу». Статью Главлит включил в список «инакомыслящей» литературы, а нашу книгу вскоре из фондов библиотек изъял и уничтожил!

Даже из этого краткого рассказа читатель поймет, сколько текстологических загадок скрывало произведение Радищева, и в самом деле, материала хватило нам на спокойную статью, которая была напечатана в журнале «Вопросы философии» в 1955 году, вызвав целую научную общесоюзную дискуссию в 1956—1958 годах.

А теперь сравните с этой научной дискуссией события на кафедре И.Я. Щипанова, где было назначено обсуждение нашей залихватской, далеко не безупречной — не отрицаю — статьи.

На трибуну поднялся, как и положено, открывая дискуссию, Иван Яковлевич и, абсолютно не интересуясь «двумя» или «тремя» оценками радищевского «Путешествия...» в нашей литературе или анализом каких-либо текстов, провозгласил примерно следующее, за точность смысла ручаюсь: «Вы вот собрались здесь заниматься вопросами текстологии и какими-то верными и неверными оценками воззрений Радищева. А вопрос надо ставить не текстологически, а политически (как истинный «интеллигент» он так и выговаривал последние слова. — *Е.П.*). Авторы в своей статейке прямо написали, что они развивают взгляды Григория Гуковского. А я должен вам сообщить, что это известный враг народа, заслуженно арестованный и расстрелянный органами НКВД». После этого Иван Яковлевич многозначительно помолчал, постоял на трибуне, а потом занял свое председательское кресло за столом. Чувствовал он себя явно победителем... Зал замер.

Но, к нашему счастью (мы все трое были в зале), среди присутствовавших оказалась бывшая наша сокурсница Аля Кузьмина, только что приехавшая из Ленинграда — здесь работал, был арестован, судим

и расстрелян Гр. Гуковский, крупнейший наш специалист-литературовед, знаток идеологии XVIII века. Аля еще в ходе «политицкого» выступления Щипа написала и передала Карякину коротенькую, но спасительную для нас записочку: «Я из Ленинграда. Там только что полностью реабилитирован Гуковский». Сразу же за выступлением Ивана Яковлевича Карякин взял слово и зачитал с трибуны коротенькую записочку Кузьминой. И здесь произошло нечто неожиданное. Щип встал из за стола, демонстративно надел шляпу и... покинул зал, громко хлопнув дверью. Его «kozyрная карта» была бита в самом начале дискуссии, запасных у него не было. Ввиду его позорного бегства обсуждение нашей статьи прекратили.

Вот теперь можно поставить все точки над *i* в определении «щипановщины». В перестроечные времена в печать, благодаря статье Юрия Карякина «Не надо наступать на грабли», попала одна примечательная фраза Щипанова, сказанная им в сердцах Карякину. Не знаю, по какому поводу шел разговор, но фразу сию припоминаю: «Выступи вы прогив нас годом-двумя раньше, быть бы вам лагерной пылью». Такие слова мог произнести только человек — возьмем превосходное определение Энгельса — принадлежавший к «шайке мерзавцев, обдeldывавших свои делишки при терроре» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 33. С. 45), Правда, свое определение Энгельс давал мерзавцам времен якобинского терроризма, но известно, что терроризм Сталина превосходил якобинский тысячекратно. Соответственно надо вычислять и число наших «мерзавцев», о чем мы и понятия не имели, воюя на фронтах Отчечественной, пока мерзавцы делали карьеру в тылу.

Чтобы оправдать свой выход к политике в мемуарных записках, выскажу вот какое суждение — оно является плодом пятидесятилетней редакторской и авторской моей работы над статьями. В этой работе над ними (и над книгами) громадное значение имеет верная последовательная укладка отдельных смысловых «звеньев».

Если бы я с первой страницы этой мемуарной главы объявил, что буду писать о И.Я. Щипанове и М.Т. Иовчуке как лицах, принадлежащих «к шайке мерзавцев, обдeldывавших свои делишки при терроре», то редакция сочла бы это нарушением всех «академических правил». А вот теперь, предоставив Щипу его «Обвинительное слово» на дискуссии по книге Радищева, я просто *обязан* довести до конца разговор на данную тему.

Выступившая на Философской дискуссии 1947 года (о ней у меня будет еще специальный разговор) З.А. Смирнова, сама заработавшая в те годы «строгий выговор» по партийной линии за близость свою к «космополитам», поведала участникам дискуссии, что разработка

русской философии — дело «новое и молодое» и пионерами его стали И.Я. Щипанов и М.Т. Иовчук. Но что сделало «чистым» в философии это место после погрома группы «меньшевиствующих идеалистов», явно мешавших «тов. Сталину» утвердиться в роли «четвертого классика марксизма», в том числе и в области философии? Да то, что Иван Капитонович Луппол, прекрасный знаток философии XVIII века, автор статьи «Трагедия русского материализма» о Радищеве, был поставлен к стенке, вместо того чтобы встать во главе разработки нового направления, а «очистившееся место» было предоставлено Щипанову и Иовчуку. Людьми они были в философии невежественными, но зато погромщиками безупречнейшими. Расстреляли тогда и всех остальных «меньшевиствующих идеалистов» (они якобы готовили «покушение» на «тов. Сталина!»). Повезло лишь их «главарю» А.М. Деборину — он отделался легким инсультом и был оставлен членом Президиума Академии наук, ибо надо было кому-то заниматься и наукой — прохвосты, «обдeldывавшие свои делишки при терроре», М.Б. Митин, П.Ф. Юдин, Ф.В. Константинов и др. были всего лишь способными погромщиками и подпевалами «сталинскому гению», за что и получили звания академиков и на долгие годы захватили все «номенклатурные кресла» в данной отрасли знания. Марк Борисович Митин ухитрился даже не только поспособствовать расстрелу Стэна, но и присвоить его статью и получить за нее соответствующий гонорар. За свой чудовишный аморальный проступок — его рассматривали на партсобрании журнала «Вопросы философии», коим Митин и «руководил», — он получил всего «выговор» (дабы не передавать дело на партсобрание всего философского факультета, коллектив которого его люто ненавидел, именуя «Мрак Борисовичем»). Но кому-то он был очень «нужен». А всплыло его дело после жалобы в парторганизацию «Вопросов философии» вдовы расстрелянного Стэна. Так ревниво оберегала номенклатурная верхушка в 1960—1980-е годы — при Сулове и Трапезникове — свои испытанные идеологические «кадры», ведь они готовы были поучаствовать в любом погроме или избиении, а таковых в те годы хватало...

Впрочем, начались «те годы», о чем я начал говорить, еще в начале 1930-х годов, и одним из самых громких дел было открытие «заговора» так называемых «меньшевиствующих идеалистов», поначалу напакостивших в философии, а потом решивших «убить Сталина!» Всех их, до единого, расстреляли, но вот «главарю» банды (!) — акад. Деборину Сталин жизнь сохранил... Как это все так получилось, в деталях я и расскажу в следующей главке, ибо после XX съезда КПСС Деборину разрешили печататься и я стал у него штатным референтом (числился тог-

да А.М. Деборин в штатах разгромленного и разделенного впоследствии Института истории АН СССР).

Про дела и происшествия в этом Институте будет у меня подробнейший рассказ — его Партком стал символом борьбы с неосталинизмом, набиравшим силы после свержения Н.С. Хрущева; я оказался в самом центре происходившего (неравного — что тут говорить) противостояния. Но обо всем этом — после рассказа об А.М. Деборине.

Референт у вождя «меньшевистствующего идеализма»

Признаться, я никогда не думал, что мне придется писать об этом человеке и его времени. Я не вел никаких дневников, не записывал свои разговоры с Абрамом Моисеевичем Дебориным (1881—1963) и вообще не могу привязать к точным хронологическим датам этапы той борьбы, которую он вел при мне за восстановление своего доброго «марксистско-ленинского» имени. Картина этой борьбы приобрела для меня ясные контуры только в последующие годы и десятилетия. Но очертить эти контуры и результат я, наверно, смогу и без хронологии, отметив главное: все события — письмо А.М. Деборина Н.С. Хрущеву с просьбой об отмене Постановления ЦК по «меньшевистствующему идеализму», беседы А.М. Деборина с А.И. Микояном, вызов А.М. Деборина к Генеральному прокурору СССР в связи с реабилитацией его самого и посмертно — его учеников и соратников — состоялись вскоре после XX съезда КПСС.

В предисловии к своему сводному труду «Философия и политика» (М., 1961) академик написал: «Вместе с тем положительная работа, проделанная в 20-е годы, не должна заслонять и крупных недостатков в работе философского фронта, ставших предметом известного Постановления ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 г. о журнале “Под знаменем марксизма”» (С. 18).

Могу засвидетельствовать: эта вынужденная формулировка *не отражает истинной позиции А.М. Деборина* в конце 1950-х — начале 1960-х годов, ибо боролся тогда академик *против Постановления* и ставил (через А.И. Микояна) вопрос об его *отмене*. Боролся и проиграл, несмотря на поддержку Н.С. Хрущева и А.И. Микояна. **Постановление ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 г. тогда не было отменено** — для этого, видимо, не было условий в то половинчатое и противоречивое время.

Но все же А.М. Деборину разрешили сначала заняться научной работой, затем — публиковать свои труды. А раз академик приступил к работе, ему по штатам Академии наук был положен референт. В качестве такового я и появился у него на квартире где-то в конце 1957 года, когда мы все трое — Ю.Ф. Карякин, Л.И. Филипов и я — расстались с МГУ им. Ломоносова и кафедрой истории русской философии И.Я. Щипанова, так и не одолев этого прохвоста...

Мое первое знакомство с академиком А.М. Дебориным

Дверь академической квартиры на Ленинском проспекте мне открыл плотный, крепкого сложения, невысокого роста пожилой человек лет 75, проводивший меня в расположенный направо от входа свой кабинет. У него как-то странно было приспущено одно веко, как я узнал позже — след инсульта, перенесенного в годы погрома Сталиным и его прихвостнями «меньшевиствующего идеализма». В кабинете на столе стояла портативная пишущая машинка — главное орудие производства академика — и высилась солидная стопка книг.

«Будем издавать труд о социальных учениях, — сказал Деборин, усадив меня. — Часть рукописей готова у меня, а теперь вот приходится восполнять пробелы. Вам придется читать и редактировать тексты вслед за мной. Надолго откладывать окончание работы нельзя — возраст не позволяет».

Работа моя оказалась нелегкой, учитывая гигантскую эрудицию академика и его огромную работоспособность; он весь день и часть ночи читал сочинения «классиков политической мысли», а также труды о них. Писал он без каких-либо «прикидок» или «черновики», сразу набело — и тут же передавал мне тексты, которые мне казались лишенными логики, что, очевидно, и было на самом деле. Работая ежедневно, без выходных, академик мог за пару недель «осилить» любого мыслителя — будь то Макиавелли, Локк, Руссо или Марат. Первый том «Социально-политических учений Нового времени», который мы собирали, освещал идеи до сорока мыслителей-политиков, вышел он год спустя после моего появления у академика (М., 1958).

Углубляться в оригинальные тексты я не мог — серьезное ознакомление с классическими трудами потребовало бы нескольких лет, работа над книгой растянулась бы непомерно. Пришлось пойти по линии наименьшего сопротивления — кроить переданные мне тексты, придавая им «логику», вернее, подобие ее, ибо каждый мыслитель в отдель-

ности и все вместе требовали все же кардинальной обработки в свете всех их объединяющей общей идеи, коей в подготавливаемой к изданию книге вообще не было. Но плоды моей поспешной работы академику нравились, тексты вроде бы улучшались, претензий к моей работе не было у него никаких... Меня же такая «работа», признаюсь вам, выводила из себя, во мне росло недовольство простым пересказом взглядов десятков мыслителей, одного за другим, что было, кстати, характерно и для тех «Историй философии», которые мне до того приходилось «прорабатывать» при сдаче экзаменов на философском факультете МГУ им. Ломоносова.

Куда интереснее была *параллельная* работа над трудом «Философия и политика», издание которого тоже разрешили академику. Кстати, в своем письме в ЦК академик просил разрешения дать сводному труду боевое заглавие, помнится, — «В борьбе за диалектический материализм». Но это ему не разрешили, учитывая его «непартийные» прегрешения, пришлось ему ограничиться заглавием явно объективистским. Кто заглянет в книгу «Философия и политика», тот без труда обнаружит большой пробел в сводном материале — здесь есть «Борьба с махизмом», «Критика реакционных направлений буржуазной мысли первой четверти XX в.», «Борьба с механистами», «Ленин и диалектический материализм», «К десятилетию Великой Октябрьской революции», «В борьбе с буржуазной идеологией». Но нет здесь ни *одного* выступления Деборина *в защиту своего философского направления в 1929—1930 гг.*, когда развертывалась его полемика с Митиным, Юдиным, Ем. Ярославским и другими. На все выступления Деборина тех лет было теперь, в конце 50-х годов (!), наложено «табу»; лежали они в спецхране.

Добавлю, что отбирал прежние свои работы для сводного труда академик сам, не перекладывая эту задачу на мои плечи, — я просто следил за материалами, сходящими с машинки (академику дали персональную машинистку). Но все же я ознакомился с аргументами споривших сторон: посмотрел доклад Деборина «Современные проблемы философии марксизма-ленинизма» в каком-то спецхране, купил антидеборинскую книгу «За поворот на философском фронте» (выпуск первый, М.-Л., 1931) в одном из букинистических магазинов, она до сих пор хранится у меня вместе с трудами самого академика с однотипной дарственной надписью на них: «Дорогому Евгению Григорьевичу Плимаку на память о совместной работе над книгой. А. Деборин 23, II, 1959 и 1 мая 1961».

И все же мне как-то совестно за то, что в «совместную работу» я не мог внести достойный вклад — какие знания о «социально-политических учениях Нового времени» или дискуссиях советских философов

в 1920—1930-е годы давал нам философский факультет? Да никаких знаний... Но кое-что из писаний Деборина я все же почерпнул, как и убеждение в том, что так, как писал он, писать нельзя. Но об этом несколько позже...

Борьба Деборина против партийного клейма

Посещал я квартиру академика пару раз в неделю, приезжая из своей барачной проходной комнаты в прекрасную академическую квартиру. Но зависти у меня не было: я знал свое место и полагал, что «каждому свое». Приходил я обычно за очередной пачкой текстов.

При моем приходе Абрам Моисеевич давал себе передышку, обычно завязывалась беседа о прошлых временах. Академик был расположен ко мне и откровенен, но вот об избииении «меньшевистствующих идеалистов» и Постановлении ЦК ВКП(б), признаться, говорил неохотно и редко, чаще обращаясь к временам дореволюционным или рассказывая о своей работе в Академии наук, где он в то время был, если не ошибаюсь, членом Президиума.

Неоднократно я слышал рассказ о встрече Деборина с Лениным, кажется, в Швейцарии. К Ленину академик сохранял огромный пиетет и был в этом отношении вполне искренен, он считал его выдающимся философом — в отличие от прославляемого Сталина. Запомнился мне рассказ Деборина о появлении Сталина на заседаниях Президиума Академии наук: тот обычно не садился за стол, а с трубкой в руках расхаживал рядом со столом, подходя иногда к тому или другому из заседавших академиков и пристально его рассматривая. Но постепенно я приобщился все-таки и к ходу той борьбы Деборина, которую он вел за свое «доброе имя».

О главном — своем письме Н.С. Хрущеву — академик мне ничего не говорил: оно было конфиденциальным. Но его текст стал ныне достоянием общественности, и я его воспроизведу, сделав к нему некоторые дополнения и пояснения.

«В конце 1930 г. тогдашний заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК², — писал Деборин Хрущеву, — объявил мне, что отныне требуется утвердить один авторитет во всех (!) областях, в том числе и в области философии. Этот авторитет — наш вождь Сталин.

В связи с этим меня вскоре посетили на квартире тт. Митин, Юдин и Ральцевич, которые предъявили мне ультиматум: на публичном собрании я должен был разгромить своих учеников, объявив их врагами народа. Самого же Сталина провозгласить великим философом. Хоро-

шо зная, чем я рискую, я все же категорически отказался от выполнения этого приказа. По-видимому, Сталину в то время нужно было «благословение» на его злодеяния.

После моего отказа последовала бешеная атака на меня и моих единомышленников — преданных ленинцев, которых обвинили в терроризме. Особенно дико действовал М.Б. Митин, который не останавливался перед самой дикой клеветой».

В этом документе не отражены некоторые детали, известные мне из бесед с Абрамом Моисеевичем.

Его разговор со Стецким и визит Митина, Юдина, Ральцевича на квартиру Деборина состоялись в конце 1930 г., обвинение «меньшевиствующих идеалистов» в *терроризме* (!) появилось, как мне представляется, уже после убийства С.М. Кирова, когда НКВД изобрело, наряду с другими, целый «заговор» под водительством Деборина. В разговоре со мной А.М. Деборин передал мне более точно содержание своего отказа Митину и компании. Ответ его гласил: «Я не предаю своих учеников и друзей». Как-то рассказал мне Деборин о только что состоявшемся своем визите к Генеральному прокурору СССР — академика познакомили с целым «делом», в котором он значился главой «террористического центра», и сказали, что по этому делу после XX съезда КПСС произведена реабилитация всех расстрелянных соратников Деборина и его самого, которого Сталин оставил в живых!

Приводя текст письма А.М. Деборина Н.С. Хрущеву, авторы книги «Наше отечество. Опыт политической истории» (Т. 2, М., 1991) пишут: «Несколько позже (после визита Митина и К^о к Деборину) единомышленники Деборина были репрессированы. Сам же Деборин, несмотря на то, что был объявлен «главой» школы «меньшевиствующих идеалистов», по счастливой иронии судьбы не был даже арестован, хотя и был отстранен от дел, пережил Сталина и уже в 60-е годы опубликовал несколько своих трудов» (С. 347). На наш взгляд, счастливая «ирония судьбы» состояла в *прагматизме Сталина-убийцы*. Понимая, что общественные науки нельзя передавать в руки одних лишь вскоре титулованных им, но безграмотных Митина, Юдина, Константинова, Иовчука, Сталин оставил им в «подмогу» Деборина и даже выдвинул его в аппарат Академии наук — ему явно требовался еще организационный опыт и эрудиция академика.

Надо отметить, касаясь Постановления ЦК ВКП(б) о «скаtywании» группы Деборина, Кареева, Стэна и других на позиции «меньшевиствующего идеализма», что документы, отражавшие *единоличные замыслы Сталина* и обслуживавших его волю клик, *выдавались за продукт*

«коллективной мудрости партии», что крайне затрудняло покушение на них даже в период хрущевской «оттепели».

Видимо, на «коллективный разум» партии и ссылались Молотов, Каганович, Ворошилов, возражая на Президиуме ЦК против отмены Постановления ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 года. Ведь, в сущности, это Постановление открыло в свое время *целую серию* погромных идеологических документов, изготовленных Сталиным и его прихвостнями, *отмена данного постановления грозила поколебать всю зловещую идеологическую «пирамиду»...*

Идейная традиция борьбы коммунистов и личный вклад в нее Сталина

Обращаясь к избиению «меньшевистствующих идеалистов», теме, которую не очень любил затрагивать в разговорах со мной Деборин, следует, по-видимому, отличать события кратковременные, принятие того или иного конкретного погромного решения времен «сталинщины» от причин более глубокого порядка, питавших давнюю традицию борьбы коммунистов со всякого рода «инакомыслием», в том числе и в своих собственных рядах. Непосредственно Постановление ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 года вписывается в картину идеологической борьбы конца 20-х — начала 30-х годов, когда Сталин провозгласил знаменитое «обострение классовой борьбы в СССР при строительстве социализма», сопровождавшееся такими идеологическими кампаниями, пришедшими на смену погрому «троцкистов-зиновьевцев», как сокрушение «теории равновесия» Бухарина, «рубинщины», «переверзевщины», «троцкистов, окопавшихся в исторической науке» и т. п. Но можно и должно включить борьбу с «меньшевистствующим идеализмом» и в более широкий исторический контекст, на что, кстати, претендовал и сам Сталин!

Давая в беседе с членами бюро партячейки Института философии и естествознания 9 декабря 1930 года установку «переворочить, перекопать весь навоз (!), который накопился в философии и естествознании», «все разворочить, что написано деборинской группой», рекомендуя применять для «боя» с Дебориным и его учениками и последователями «все виды оружия» (!), Сталин обосновывал эту свою установку примерами той полемики, которую вели «основоположники»: «Маркс и Энгельс начали свою большую работу с критики старого... Ленин тоже начал с этого. Он бил (!) народников, струвистов, экономистов, меньшевиков. Ваша главная задача теперь — развернуть вовсю

критику. Бить — главная проблема!! Бить по всем направлениям и там, где не били!»³.

На первый взгляд, у Сталина были все основания вписывать борьбу с «деборинцами» в контекст почти вековой борьбы, которую «основоположники» вели с многочисленнейшими своими идейными противниками. Действительно, Маркс, Энгельс, Ленин, да и Плеханов отличались крайней нетерпимостью в защите «ортодоксальных» позиций «рабочего класса» против «буржуазных», «мелкобуржуазных» оппонентов, «ревизионистов» и «невежд» всякого рода. Но раньше нетерпимость порождалась стремлением выстроить и упрочить некую пролетарскую «общественную науку», защитить новое рождающееся мирозерцание от идейных врагов пролетариата. А во времена «сталинщины» и «ждановщины» (к последней мы вернемся еще специально и подробно) те или иные «враги народа» и их «идеологи» просто «выдумывались», «изобретались», «клеямились» с целью создания в стране обстановки перманентного «кризиса», напряжения всех сил для борьбы с «классовым врагом», которого и в помине не было, а также с целью упрочить и прославить *личную диктатуру «вождей»* и поддерживающих его *клик* в идеологии, которые давным-давно превратились в «обслужу» *тиранической власти*. Здесь уже не пахло никакой «партийной наукой», хотя обещало высокие звания и должности, которыми распорядился «хозяин».

Впрочем, отметим истины ради, что сами деборинцы в своей полемике с «механистами» и иными «отступниками» от марксизма в немалой степени поспособствовали в 1920-х годах насаждению идейной нетерпимости. Они слишком рьяно взялись выполнять завет Ленина, данный в статье «О значении воинствующего материализма», в смысле неуклонного разоблачения и преследования всех современных «дипломированных лакеев поповщины» — выражение Дицгена, взятое на вооружение Лениным⁴. Клеймо «ревизионизма», «буржуазной контрреволюционной (!) философии, пробивавшейся сквозь почву нэпа», было прочно приклеено к врагам деборинского понимания философии именно в 20-е годы. А вот теперь деборинцы пожинали плоды самими же ими насаждаемой нетерпимости, сделались главным объектом погромной кампании...

Когда авторы объемистого труда «История философии. Том второй. История марксистско-ленинской философии» (М., 1951; у меня сохранился громаднейший макет за № 441!) пытались осветить с точки зрения «партийности» содержание сокрушаемого деборинского «направления», то вышла «убойная» страничка, напичканная политическими ярлыками и вообще лишенная философской аргумен-

гации, которая все же была присуща трудам деборинцев. Думаем, не грех воспроизвести всю эту галиматью, чтобы понять, какой груз партийных обвинений взвалили на Деборина и его сторонников при хвостности Сталина, клика, выполнявшая его приказ «бить по всем направлениям»:

«Если механицизм служил «философским обоснованием» кулацкой идеологии (!) и поставлял теоретическое оружие для правых реставраторов капитализма (!), то меньшевистствующий идеализм выступал как идеологическое прикрытие контрреволюционного троцкизма (!), как его агентура (!) на философском фронте... Меньшевистствующий идеализм был связан с контрреволюционными (!) течениями, действовавшими на других участках идеологического фронта, — с рубинщиной в политической экономии, переверзевщиной в литературоведении и др. В период, когда журнал «Под знаменем марксизма» находился под руководством меньшевистствующих идеалистов, в нем пропагандировали вейсманизм-морганизм и его идеалистическую, метафизическую «хромосомную теорию наследственности» (!). В области философии меньшевистствующие идеалисты всячески прославляли Гегеля и подменяли диалектический материализм идеалистической гегелевской диалектикой. Если механисты утверждали, что «марксистская диалектика — это мистика, а потому от нее надо поскорее освободиться и заменить ее «теорией равновесия», то меньшевистствующий идеализм стремился вытравить революционную душу марксизма путем подмены марксистской диалектики мистической диалектикой Гегеля и протаскиванием идеализма в сознание советских людей...» (С. 688 макета).

Ныне все эти обвинения кажутся просто бредом больного человека, но таким же бредом были и «позитивные» разработки авторов макета под названиями: «Развитие марксистско-ленинской философии В.И. Лениным и И.В. Сталиным в борьбе за создание партии нового типа», «Развитие марксистской философии в книге Ленина “Государство и революция”», «Ленин и Сталин о классах и классовой борьбе в переходный период», «Развитие марксистско-ленинской философии в период Великой Отечественной войны. Работа И.В. Сталина “О Великой Отечественной войне Советского Союза” и прочее...

И везде мы видим воплощение «установок» Постановления ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 года, *суть* которых объективно сводилась к тому, чтобы *растворить сам предмет философии* в разного рода экономических, политических, тактических работах Ленина, но прежде всего

Сталина, который никаким философом пока не был. Так в руководящей статье «За большевизацию работы на философском фронте» ее авторы А. Весна, А. Егоршин, Ф. Константинов, Б. Митин, В. Ральцевич и другие прямо провозглашали: «Основная задача поворота на философском фронте состоит в том, чтобы актуализировать работу над теорией диалектики, в том числе повернуть ее лицом к той богатейшей диалектике, которая получила гениальное и конкретное освещение *во всех* (!) экономических, политических и тактических работах Ленина, в работах партии (!) и в работах наиболее ортодоксальных учеников Ленина, прежде всего в работах т. Сталина (!)» («За поворот на философском фронте». М., Л., 1931. Вып. I. С. 58 (курсив мой. — *Е.П.*).

Итак, ларчик отрывался довольно просто: *поскольку надо было утвердить великим философом Сталина, который философией вообще не занимался, то решили ликвидировать философию как особую науку — она попросту отождествлялась со всем (!) политическим наследием Ленина и особенно Сталина!* Ликвидацию (фактическую!) предмета философии предусматривало и само Постановление ЦК ВКП(б) «О журнале под знаменем марксизма». Оказывается, «работа журнала (философского! — *Е.П.*) была оторвана от задач строительства социализма в СССР, как и от задач международного рабочего движения. Ни одна из проблем переходного периода, теоретически разрабатываемых и практически решаемых партией, журналом не была поставлена». Далее журнал обвинялся в «непонимании ленинского этапа как новой ступени в развитии философии марксизма», в «отрыве философии от политики», в воскрешении «одной из вреднейших традиций и догм II Интернационала» — разрыве «между теорией и практикой», в скатывании «в ряде важнейших вопросов на позиции меньшевистствующего идеализма» (Там же. С. 223). Где в Постановлении учет специфики философии?

Кстати, помогло утверждению этих оценок «партийное выступление» на дискуссии в Комакадемии Ем. Ярославского по поводу «т. Деборина и т. Аксельрод». Еще 20 апреля 1921 г. Ярославский запросил мнение Ленина относительно возможности привлечения данных товарищей к «чтению лекций по философии». Ленин ответил в своей конкретной и жесткой манере: «По-моему, *обязательно* обоих. Полезно, ибо они будут отстаивать марксизм (если станут агитировать за меньшевизм, мы их поймаем: *присмотреть надо*)»⁵. Теперь же Ярославский заключал: «Мы за ним (Дебориным. — *Е.П.*) плохо присмотрели», и стал разбирать... статью Деборина от 1908 года (!). Ответ на реплику академика «Я же меньшевиком был тогда» Ярославский заметил: «Погодите, не в этом дело, а в том, что вы и после не признали неправильной эту статью» («За поворот на философском фронте».

С. 129—130). Спорить против таких «аргументов» было бесполезно. Деборин и его ученики просто сдали в 1931 году свои позиции...

Некоторые мысли о методологии изучения общественно-политических идей

Дело учителя продолжают его ученики. Но у Деборина не осталось учеников и последователей, всех их расстреляли в сталинские времена как «террористов». Кажется, последним из расстрелянных был И.К. Луппол, которого я хорошо знал по его трудам. Его, академика с 1939 года, знатока зарубежной и русской философии, известного комментатора издаваемых у нас сочинений Руссо, автора книги «Дени Дидро. Очерки жизни и мировоззрения» (М., 1924, 1960), автора «Историко-философских этюдов» (М., 1935) с превосходной статьей о трагедии русского материализма XVIII в. в лице Радищева, книги «Ленин и философия», выдержавшей в конце 1920-х — начале 1930-х годов три издания, автора интересной главы «История философии в России XVIII и первой половины XIX в.» в книге «Краткий очерк истории философии» (М., 1940), и поставить бы в середине 40-х годов, когда пробудился интерес к русской философии, к руководству ее изучением. Так нет же. Его еще в 1943-м поставили к стенке (немецкая фамилия плюс все тот же «терроризм»!), а руководство изучением русской философии отдали в руки прятавшихся на кафедрах от фронта и дремуче невежественных М.Т. Иовчука и И.Я. Щипанова...

Лучшей памятью о «школе Деборина» была бы позитивная разработка тех проблем, над которыми она билась, занимаясь и Гегелем, и Марксом, и Лениным, и вопросами материалистической диалектики, взятой в ее отношении к тогдашнему естествознанию, а также истории философии и историей социально-политической мысли.

Отнюдь не претендуя на то, чтобы оценивать достижения и просчеты этой «школы» (это дело отдельного труда), я хотел бы обратиться к профессиональной для меня теме: методология изучения общественно-политической мысли — с этой темой я уже выступал на страницах книги «Философские проблемы исторической науки» (М., 1969), сборника «Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования» (Выпуск XVII. М., 1995), на страницах ряда журналов. Сейчас я хотел бы суммировать свои взгляды по теме «Общественная мысль как предмет исторического исследования» — толчок моим занятиям здесь дала, безусловно, работа у Деборина, дополненная самостоятельным исследованием событий Великой французской революции

XVIII века, исследованием Великого Октября 1917 года (в широком смысле этого слова) и изучением русской общественно-политической мысли XVIII—XX веков.

В.И. Ленин, конспектируя «Науку логики» Гегеля, записал для себя: «Мысль о превращении идеального в реальное *глубока*: очень важна для истории»⁶. С этим нельзя не согласиться, но нельзя не заметить, с каким трудом мы схватываем содержательно это самое *идеальное* и тем более фиксируем его превращение в *реальное*, воссоздаем исторический процесс в его *целостности*.

Для меня остается аксиомой положение о том, что само изучение истории общественной мысли должно опираться на материалистическую теорию отражения. Требования «выведения» мысли из действительности, вычленения объективного содержания в субъективном образе являются азами научной методологии. Но все дело в чрезвычайной сложности соблюдения этих, казалось бы, элементарных требований.

Отражение общественной жизни в голове идеолога обычно принимает самые разнообразные, многокрасочные формы. Классические умозрительные конструкции и теоретические построения, существовавшие в истории мысли, были порой столь сложны, что на изучение плана «внутренней застройки» или всех переходов какой-нибудь системы, созданной могучим гением Гегеля или Фурье, Чернышевского или Маркса, Плеханова или Ленина, историку нужны целые годы, а иногда может понадобиться вся жизнь! Возникает к тому же проблема: следует ли вообще воспроизводить обширные системы в их внутренней логике, не лучше ли заниматься только выявлением и очищением, так сказать, их «рациональных зерен». Но не превратится ли в последнем случае вся история общественной мысли в подгонку всех разнообразных мыслителей, непохожих друг на друга, под какой-то один шаблон? Не станет ли при таком сужении предмета исследования крайне бедным реальный процесс развития мысли, не потеряем ли мы за «рациональными зёрнами» весь живой цвет мысли, ее ажурные конструкции, ее удивительные переливы от одного этапа развития к другому, а главное, определенные *закономерности*, внутреннюю *логику развития* идей?

Трудности увеличиваются, когда от отдельных мыслителей приходится переходить к тем или иным направлениям теоретической мысли, теоретическим представлениям тех или иных эпох. В реальной истории общества действовали и оставили заметный след тысячи и тысячи теоретиков, выдвигавших те или иные идеалы, отстаивавших те или иные лозунги. Даже простое ознакомление с их работами требует огромного

груда. Если же мы переходим к сознанию человечества в целом, *необъятный океан* мыслительного материала грозит бесследно поглотить лютой многообещающий замысел.

Существующее в науке разделение труда и преимущество в работе историков общественной мысли должны, казалось бы, радикально облегчить задачу. Авторам синтезирующих пособий совсем не требуется заново осваивать громадный мыслительный материал — главные фигуры и направления — плохо ли, хорошо ли — исследованы, описаны до них. Но именно здесь — при попытках понять содержательность наличной литературы — выявляется одно весьма прискорбное обстоятельство. Огромное большинство пособий по истории мысли, описывая те или иные «идеи», даже выводя их из «действительности», вообще не занимаются специально *дальнейшим соотношением* этих идей с действительностью, последующим превращением *идеального в реальное*.

Два-три элементарных примера. В десятках «Историй политических учений» многократно повторено, что буржуазные идеологи выдвинули принцип разделения властей, закрепленный в конституциях многих государств. Но в тех же пособиях ничего не говорится о том, как же этот принцип воплощался в жизнь в практике буржуазных государств и, так или иначе, видоизменялся. Идеи описываются сами по себе, практика их реализации в других, исторических пособиях, которые почти не занимают историей «учений», *соотношением мысли с реальностью!*

Во многих работах по истории Просвещения XVIII века сказано, что энциклопедисты придерживались теории «просвещенного абсолютизма». Но из тех же работ трудно уяснить, как же эти теории воплощались, или, наоборот, не воплощались в жизнь на практике, в деятельности таких «просвещенных монархов», как Фридрих II, Иосиф II, Екатерина II, тех или иных «первых министров», т. е. о том, как практика «просвещенного абсолютизма» *разрушала* монархические иллюзии энциклопедистов. *Мысль описывают одни книги, ее воплощение в жизнь — другие.*

Известно, какое влияние оказали на французскую революцию 1789—1815 годов. «Дух законов» Монтескье и «Общественный договор» Руссо. Но они редко соотносятся с теми или иными поворотами революции, не прослеживается смена их идей *в самой жизни*.

Трудности соотношения идей с действительностью заставляют авторов систематизирующих пособий по истории общественно-политической (да и философской) мысли идти проторенным путем — просто пересказывать системы и идеи в географически-хронологической последовательности, воспроизводя объективную реальность, породившую ту

или иную мысль, в виде некоего исторического «фона», которому отводится иногда отдельный параграф, иногда целая глава и о котором совершенно забывают, переходя к описаниям «идей»... Идеализма здесь, правда, не «меньшевиствующего», хватает вполне. Книги с методологически верной установкой на соотнесение мыслей с реальностью в историографии Французской революции XVIII века я могу указать лишь две-три: это книга Ц. Фридлянда «Жан-Поль Марат и гражданская война во Франции в XVIII веке» (2-е изд. М., 1959) и «Французское Просвещение и революция» (М., 1989), издание Института философии АН СССР (да и то во второй не рассматриваются идеи Мирабо, Бриссо, Дантона, Марата, Робеспьера в самом *горниле* революции). Замечательной книгой в этом отношении является исследование Н.И. Кареева «Великая французская революция» (М., 1918; переиздана в Москве в 2003 г.); в ней, в частности, показано, что именно из идей Монтескье или Руссо брали творцы революции на том или ином ее этапе.

В остальном же приходится довольствоваться пособиями В.П. Волгина «Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке» (М., 1958) и А.М. Деборина «Социально-политические учения нового времени» (Т. 1. М., 1958), а ведь это всего-навсего *рядоположное* изложение идей, простой *пересказ* их, без анализа превращения этих идей в ходе той же Французской революции иногда в свою *противоположность* (якобинский террор!), причем салонная мысль философов не различается историками от массового сознания (это совсем не одно и то же). Об обретении творцами века Разума результатов совсем не «разумных», *обратных* тому, к чему они стремились, авторы вообще предпочитают молчать!

Уяснение *диалектического соотношения теории и практики* никогда не отличало школы Волгина, Деборина (до революции — Виппера), бесконечно далеко столпам этих школ до Гёте, да и таких пронизательных мыслителей XVIII века, как Э. Бёрк или Т. Пейн. Гёте ставил в «Фаусте» проблему «меры» в разного рода преобразованиях и «обратимости» революционных процессов. Бёрк говорил об абстрактности лозунгов Просвещения, что вело к различиям в их конкретном исполнении. Т. Пейн выявлял противоречивость теории и практики якобинцев, последователей Руссо, которые создали во Франции террористическую инквизицию почище средневековой, но все же верил в конечное воплощение идеалов просветителей в жизнь. Пожалуй, только у П. Новгородцева («Об общественном идеале», Киев, 1919) или у Ф. Хайека («Дорога к рабству», 1944) обнаруживаются выходы к *диалектике мысли и действия*, но нельзя сказать, что перед нами плоды сознательно применяемой методологии.

Короче говоря, пересказать взгляды тех или иных мыслителей оказывается куда проще, чем исследовать *воплощение хотя бы одной крупной идеи в жизнь* — в последнем случае требуется проследить *параллельный* ход мысли и процесса действия, соответствие слов и дел на громадных отрезках времени в той или иной совершающей свою великую революцию или иное преобразование стране!

Порой в итоге полного отвлечения мысли от действия из поля зрения исследователей исчезают, можно сказать, геологические перевороты в общественной практике человечества.

Так в нашей литературе почти совсем не изучено влияние Войны за независимость в Америке на европейскую мысль, мы не найдем ссылок на иностранные исследования этого феномена, напр.: D. Mornet. *Les origines intellectuelles de la Révolution française (1715—1787)*. Paris. 1933; B. Fay. *L'esprit en France et aux Etats-Unis à la fin du XVIII siècle*. Paris, 1924. А ведь эти сочинения полностью подтверждают вывод Предисловия к I тому «Капитала» Маркса: «Американская революция послужила набатным колоколом для европейской буржуазии»⁷. И Волгин, и Деборин, а до этого Р. Виппер практически ничего не сообщают нам о так называемой «*машине войны*» Рейналя и Дидро — многочисленнейших переизданиях их «Истории обеих Индий» или такого повлиявшего на Францию XVIII века извлечения из нее, как «Американская революция»⁸.

В советской литературе (тем более — в российской, новой) не выявлен, не прослежен, если брать ту же эпоху, обратного рода процесс: *глубочайший кризис* буржуазного европейского радикализма (ему в чем-то соответствует кризис современного российского коммунизма!), когда в годину якобинского терроризма от Робеспьера отшатнулись Жак Ру, Леклерк, Дантон, Демулен, Томас Пейн, Кондорсе, наши Радищев и Карамзин, на время — Грахх Бабёф. В теоретическом арсенале ведущих советских специалистов по идеологии XVIII века, таких, как Г. Гуковский, А. Манфред, В. Далин, Г. Макогоненко, *не было вообще (!)* таких понятий, как «**кризис Просвещения XVIII века**», «**трагедия радикализма XVIII века**», «**крах Царства Разума**», — а без осмысления этих трагедий и крахов был вообще невозможен анализ распрей во Франции 1793—1794 годов, драм Радищева или Карамзина, причин отказа великих утопистов — таких, как Сен-Симон, Фурье, Оуэн, — от политического насилия!

К тому же, дав нашему читателю в избытке труды «несгибаемых» революционеров, таких как Робеспьер, Марат, Томас Пейн (до 1793—1794 годов), Бабёф, Буонаротти и др., о чем мы упоминали выше, советские издательства и историки не спешили знакомить того же читателя

со взглядами «непоследовательных» революционеров — Дантона, Демулена, Жака Ру, не познакомили они читателя и с хрестоматийными на Западе сочинениями Эдмунда Бёрка. Пухлый коллективный труд «Французская буржуазная революция 1789—1794» (М., Л., 1941) под редакцией академиков В.П. Волгина и Е.В. Тарле, конечно, не случайно не доводил свой анализ до Наполеона Бонапарта, хотя тот был законным порождением и продолжением революции! *Весь цикл Французской революции 1789—1794—1815* кончился Наполеоном Бонапартом и Реставрацией — чего не понял Ленин, *завершивший революцию 1794 годом* (ее верно завершал Чернышевский 1815 годом). Перейдя к Э. Бёрку, создатели труда дали классический пример того, как можно ходить вокруг да около «неприятных», но влиятельных в то время фигур, ничего не сообщая о них по существу! Читатель мог узнать о критике Бёрка в Европе, кое-что — о его последователях, но вот изложения взглядов самого Бёрка не было в пособии! А ведь Бёрк, а за ним Тэн ставили вопрос об угрозе катастрофического обрыва в революции цивилизационных традиций, неуправляемости и гибельности для нации развязанных во Франции процессов (у Тэна — якобинского терроризма). Наши историки молчали об издании Чернышевским «Исторической библиотеки», переводов сочинений «моралиста» Шлоссера, который нарисовал страшную и в то же время впечатляющую картину плебейско-уголовного натиска 1789—1794 годов, а затем — сползания к диктатуре Наполеона Бонапарта, «разбавившего» новое — старым, буржуазное — монархическим. В общем нас кормили содержанием «чисто» революционных блюд, умалчивая о блюдах «неревolutionных» или «антиреволюционных». Из нас делали «освободителей пролетариата во всем мире», у которых бы не возникало никаких вопросов или сомнений в своей правоте и непобедимости... ***Вся сложность, противоречивость, неподконтрольность событий вождям, откаты революций скрывались.***

Кстати, явный параллелизм процессов 1789-го и далее и 1917 года и далее наводит на тяжкие раздумья (запрещавшиеся ранее в советской литературе!): социальная материя обнаруживала свою неподатливость воле и разумению людей в те моменты, когда они очень уж решительно, как Робеспьер и Ленин, принимались за перестройку явно несправедливых общественных отношений, будь то по наущению Разума или предписаниям Научной теории.

Эта неподатливость проявлялась в самых различных формах и аспектах. Желанная свобода в ее борьбе с деспотизмом оборачивалась неким «деспотизмом свободы»; место прежних королей-тиранов занимали еще более тиранические Бонапарты—Сталины. Сама цель — Царство разума или Коммунистическое общество — отодвигалась

куда-то в неведомую даль, поначалу же «освобожденные» народы утопили в морях крови. Столетиями (!) английскому, французскому, а ныне российскому региону приходилось переваривать достаточно горькие результаты своих Великих революций. Этого параллелизма вообще не замечала наша казенная наука (в отличие от т. н. «буржуазной»).

Не переварив в свое время опыт коллизий Французской революции, затем опыт коллизий и катастроф 1917 года (в широком его смысле), мы так и не изменились в годы «перестройки» Горбачева или «реформ» Ельцина. Мы просто сменили традиционные похвалы в адрес крайних революционеров — якобинцев или большевиков — на бессодержательную хулу в их адрес, по поводу их «утопизма», «кровожадности» и «бесовства», не стремясь разобраться в существовании постоянно происходивших процессов *цикличности революций*, схватываемых «буржуазными» социологами революций (а в России XVIII—XIX веков — Радищевым, Чернышевским, Писаревым)..

* * *

Главным в деятельности сметенной Сталиным и его прихвостнями «группы Деборина» (это была действительно группа единомышленников) может считаться пропаганда и утверждение в нашей стране учения Маркса, Энгельса, Ленина, его развитие в свете новейших достижений естествознания и обществоведения. Подвести итог этой работе трудно — она была прервана еще на самой начальной стадии сталинским вторжением в философию, дело свелось в конечном счете к **физическому уничтожению** всех «деборинцев» за исключением их «главаря» — его Сталин пощадил для работы в Академии наук.

М. Б. Митин свою статью «Меньшевиствующий идеализм» («Философская энциклопедия». Т. 3. 1964) кончает таким пассажем: «В целом же принципиальная критика идеалистических извращений, допущенных Дебориным и его сторонниками в 20-е годы, имела большое значение для развития марксистской философской мысли, для популяризации философского наследия Ленина, обоснования ленинского этапа в развитии диалектического и исторического материализма» (С. 389). Все это — сокрытие зловключений философии в СССР, бесчисленные панегирики в адрес «великого философа» Сталина — не упомянуто! А ведь ради них велась вся критика...

Погром «меньшевиствующих идеалистов» в 1930-х годах привел к засилью в философии карьеристов-сталинцев, абсолютно неспособных к какому-либо творчеству. Где мы видим хотя бы один фундаментальный труд, созданный персональными усилиями академиков

Митина, Юдина, Константинова, то же же Иовчука? Погромщики так и остались погромщиками. Если марксистская философия и развивалась в СССР, то вопреки нападкам этих «руководителей» — развивалась Э. Ильенковым, М. Мамардашвили, Ю. Давыдовым, В. Келле, В. Тютиным, Ю. Бородаем и другими, писавшими о диалектике абстрактного и конкретного, диалектической логике, проблеме отчуждения, уточненном формационном членении исторического процесса, превращенных формах, генезисе сознания. Немалое влияние оказали молодые философы на развитие исторической науки в СССР, психологии, литературы.

Но вообще говоря, философии марксизма-ленинизма — одной из самых содержательных форм теоретического мышления в XIX—XX веках — не повезло в нашей стране. Еще не были разорваны вполне пути догматического мышления на «философском фронте», как резко изменилась у нас вся идеологическая обстановка, появилась (после Беловежской пуши) целая когорта «демократических» философов и обществоведов (в основном «марксистов»-перевертышей); главным для них стала *не коррективка, а устранение марксизма* из нашего общественного сознания.

Отсюда — появление крикливых нигилистических статей и утверждений: не было никакого «научного социализма», просто к новой форме утопического сознания приклеили ярлычок «научное», марксизм — «мертвечина», губившее нас «антикультурное явление» и т. п. (сами философы-«демократы» предпочитают в философии, кроме голого «отрицания», ничего позитивного не предлагать!).

Ныне вся эта разнузданная кампания явно сходит на нет — и это при всем нашем «плюрализме»! Невиданная тяжесть «первоначального капиталистического накопления» в России, формирование в стране мафиозно-криминального «номенклатурного капитализма», вымирание населения и его невероятное обнищание, при миллионе лишних беспризорных (!) и появлении миллиардеров и миллионеров напомнили все-таки о содержательности Марковского экономического учения.

Что касается домыслов об «антикультурности» марксизма (ими особенно «забавляются» некоторые известные публицисты, «позабывшие», что в глухие, в сталинско-брежневские времена работы К. Маркса и Ф. Энгельса оставались для нас единственной, по существу, и точкой, связывавшей нас с мировой философской культурой), то вся история мировой культуры их вдребезги разбивает. Всего несколько примеров. Разве не приемлющий марксизма Ясперс не восхищался Марковским анализом развития техники в «Капитале»? Разве отошедший от марксизма Бердяев не восторгался до конца дней своих Марксовой разгад-

кой тайны «товарного фетишизма»? Разве не раздумывал выдающийся мыслитель Фромм о синтезе Фрейда и Маркса, «социализации» психологии и «очеловечивании» общественной теории? Зачем же *позорят* нас перед лицом Запада, выставляя напоказ свое невежество, да и продажность нынешние наши антимарксисты? Впрочем, они прекрасно знают, что делают и кого обслуживают... О реальных проблемах погрязшей в коррупции страны, о вымирании ее населения, о гигантской пропасти нищеты и богатства, созданной «реформами» Ельцина—Гайдара, они **молчали раньше и теперь помалкивают**... Какое им дело до страданий народа и отданной на откуп кучке богатеев страны — главное оболванить народ, чтобы и дальше безропотно нес свою тяжкую долю, терпел власть кого надо... А они свою мзду и медальки получают; обслуживать власть имущих им не впервой...

Тяга к обновленному марксизму в XXI веке вполне объяснима. Марксизм обосновал *великую мысль*: гуманный «**обобществленный**» человек должен стать господином отношений между людьми и отношений человека с природой. Эту истину в общем-то знали и пропагандировали деборинцы. Наше время прибавило к ней властный императив — иначе гибель человеческого рода...

Разработчик ядерного оружия в США Нильс Бор еще в августе 1944 года предупреждал в беседе с президентом Рузвельтом, что атомная бомба несет с собой риск будущего «ядерного вооружения», а это чревато «жестоким войной, которая может привести к концу света»¹⁹. Об этом, главном, и надо думать...

На историческом и снова на философском фронте

Период моей работы референтом у академика Деборина был каким-то неопределенным периодом в моей жизни, когда я даже точно не мог сказать, какой, собственно говоря, я специальностью занимаюсь? Числился я в кадрах Института истории АН СССР (здесь работал академик). Но история общественно-политической мысли, в которую я по воле академика углубился, включала в себя и кое-что от философии, и кое-что от истории права, и кое-что из области политики (и в теоретическом, и в практическом планах). А кроме того, у Деборина мне приходилось так или иначе сталкиваться с историей философии, избивением «меньшевистствующих идеалистов»! Но скоро маятник часов моей жизни качнулся, и весьма резко, в сторону истории.

Уход от философии к истории

Основным было то, что в 1962 году ушел я от Деборина работать в журнал «История СССР». Ю.Ф. Карякина отправили работать в Прагу в журнал «Вопросы мира и социализма» и он с согласия М.П. Кима (вскоре его сменит в роли Главного редактора В.Д. Мочалов) передал в мое ведение руководство отделом «История СССР за рубежом», благо я владел иностранными языками. Вскоре в помощники мне дали Юрия Игрицкого — превосходного публициста и знатока английского языка.

Часть моего рабочего времени уходила на просмотр поступающего в наши главные библиотеки потока иностранной литературы и выбор интересных книг и подбор для них рецензентов (что не всегда удавалось). Тогда мы с Игрицким писали статьи и рецензии сами, и бо выбо-

ра у нас не было, к каждому номеру журнала надо было дать два-три авторских листа в печать.

Но все же находилось время и для работы над собственной темой, а таковой оставался Радищев и его время, но уже *в мировом масштабе*.

В 1954 году мы с Ю.Ф. Карякиным начали в «Вопросах философии» дискуссию «О двух оценках “Путешествия...” А.Н. Радищева в советской литературе», заинтересовавшую многих литературоведов, историков, философов: А.В. Западова, Ю.М. Лотмана, А.А. Галактионова, П.Ф. Никандрова, Э.С. Виленскую, других («ВФ» 1955, № 4; 1956, № 3, 4, 5; 1957, № 6; 1958, № 5). Загадок здесь было несколько. Была ли единой композиция книги Радищева? Могли ли в России конца XVIII века зародиться в среде передовых дворян революционно-демократические идеи? И как вообще они могли сочетаться с либеральными, «хотилловскими»? Рассмотрели И.К. Пантин, Л.А. Филиппов, В.И. Шинкарук, М.М. Спектор и философскую позицию А.Н. Радищева в трактате «О человеке, его смертности и бессмертии».

Обобщение материалов дискуссии мы с Ю.Ф. Карякиным опубликовали в «Исторических записках» в 1960 году (№ 6) в большой статье «О некоторых спорных проблемах мировоззрения Радищева». Превратить ее в диссертацию «Проблемы генезиса революционных идей в русской антифеодальной идеологии XVIII века» не стоило большого труда. С 1963 года я стал кандидатом исторических наук. Карякин избрал стезю публициста.

Доктором исторических наук я стал в 1986 году, мне никак не хотелось тратить время на ВАКовскую канитель. Но меня все же заставил заняться всем этим заместитель директора ИМРД, где я работал, Борис Иосифович Коваль, пристыдил меня, и я сдался. Докторская получилась всеобъемлющая: «Становление и развитие пролетарского сознания. От Французской революции до Великого Октября»; мне ВАК даже премию дал. А к чему вся эта канитель — почему не защищать как докторскую книгу, собрав форум ученых и тут же присудив соискателю искомую степень? Средневековая у нас наука, подчеркну я еще раз.

Надо сказать, что 60-е годы оказались в моей жизни переломным временем — определился на всю жизнь и круг моих друзей, и круг моих научных занятий.

В «Советской философской энциклопедии» мне предложили написать статью «Радищев». Редактором стал Александр Иванович Володин, проявил он ко мне и к статье внимание чрезвычайное. Был он лет на 7 моложе меня, писал кандидатскую по Герцену, что уже было вызовом казенной науке — тот не подходил ни под какую рубрику: и либералом вроде бы не был, и революционных демократов особенно не жаловал.

Что касается моей статьи о Радищеве, то Володин стал рассылать макет ее лучшим нашим специалистам, получилось новое обсуждение, но примечательно, что ни один рецензент не пользовался понятиями «крах Царства Разума», «кризис Просвещения», а у меня такие понятия были — я вышел на европейский и даже мировой уровень!

Что касается лично меня, то Володин чрезвычайно расширил круг моих знакомств. Он познакомил меня с Элеонорой Павлюченко, женой уже тогда знаменитого Натана Эйдельмана, много и интересно писавшего о Герцене, декабристах; сама Эля занималась судьбой их жен. Эйдельман обладал феноменальной памятью, массой знаний, был прекрасным рассказчиком и чуть позже стал центром компаний, которые у меня собирались. Володин познакомил меня и с Натальей Пирумовой, именовавшей себя «анархисткой», — она позднее напишет неплохие книги о Бакуanine, Кропоткине, а ее друг Юрий Коротков — превосходную книгу о Писареве. Так нашлись темы для обсуждений и взаимных посещений, но уже после того, как решился мучивший меня квартирный вопрос.

Барак, в котором мы все ютились, сгнил окончательно, и нам дали трехкомнатную квартиру в районе Измайлово, что опять-таки не решало жилищной проблемы, ибо в небольшой квартирке поселилось сразу три семьи. Сестра моя Зося вышла замуж за физика Анатолия Вавилова, второй семьей были отец с матерью, третью составили я с Машей и дочкой Мариной. Помог мне найти выход... мистер Кон.

Работая в Фундаментальной библиотеке, я наткнулся на книжонку Кона «Русский дух», и мы с Карякиным написали для журнала «Коммунист» памфлет «История с позиций лжи» (1959, № 1). Кон считался на Западе крупнейшим специалистом по национализму, но нас интересовали его явные фальсификации в книге о России. Так, он превратил в заядлого славянофила Ленина, заменив отточиями (!) все те места, где тот уважительно отзывался о Западе. К тому же мы обнаружили в Фундаменталке ранние книги Кона, где он восторгался Октябрем и вообще Советской властью, этот материал пригодился для его «саморазоблачений». В общем, мы создали образ лжеученого, благо видели такого в натуре в лице нашего Ивана Яковлевича...

Памфлет я отдал Виктору Петровичу Данилову, а после выхода его в свет рискнул показать в редакции «История СССР» издательства «Мысль» на предмет написания небольшой книги «Мистер Кон исследует “русский дух”». Зашел я к редактору Вадиму Степановичу Антонову, который и станет моим большим другом — кто мог тогда об этом предполагать? «Оставьте журнал мне на денек, я памфлет ваш прочитаю и с моим заведующим Конюховым переговорю. А послезавтра будьте у меня», — сказал он мне.

Через пару дней у нас была договоренность с Редакцией, мы довольно быстро сотворили книгу, и в 1962 году я уже держал ее вместе с гонораром в руках — нам досталось по 1200 рублей. Не знаю, на что трагил свой пай Юрий, я же внес свой в жилкооператив. Вскоре мы с Машей и Мариной стали обладателями собственной двухкомнатной квартиры на улице Новаторов — тогда прекрасном зеленом районе Москвы. Мы смогли даже принимать гостей. Кстати, я не упомянул, что нашими посетителями были еще Игорь Пантин с женой Нелей и Вадим Антонов, он тогда занимался народовольцами, да и по должности — всей историей СССР! Вскоре нашелся повод ошеломить и мне моих друзей случаем, который перевернул многое в моей работе.

Однажды с Сашей Володиным мы зашли в букинистический магазин, и он, подойдя ко мне, сказал: «Жень! Твой Гаврилыч (я перешел тогда на изучение закона «цикличности революций» Чернышевским) вроде бы какого-то Шлоссера переводил. Там вон на прилавке 5-й том его «Исторической библиотеки» лежит, всего 1 рубль стоит. Посмотри, что это такое».

Я попросил дать мне книгу и чуть не ахнул. Продавался только один 5-й том из восьмитомника «История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Империи» Ф.К. Шлоссера, но какой том! — история взлета Великой французской революции! Сам восьмитомник продавался тогда рублей за 200 — это было не для меня; единственный, но главный для меня том судьба мне даровала за 1! Рубль... На другой день я уже сидел в Историчке над восьмитомником. Передо мною был *фундамент теоретических построений Чернышевского!*

Обо всем этом я рассказывал своим друзьям на ближайших встречах, которые Эйдельман окрестил «плимачниками». На них рождались многие наши задумки, пока хозяева очередной квартиры готовили угощение. Но перейду к событиям в «Новом мире» в 1966—1968 годах.

Первая статья в «Новом мире» Александра Твардовского и первое избиение

Настоящим историком я стал считать себя после публикации Александром Твардовским в «Новом мире» (1966, № 6) моей статьи «Радищев и Робеспьер», где я совершенно ушел от официальных тем. На примере необузданного терроризма Робеспьера я углубился в тему «*цена революции*», а через «духовную драму» Радищева, кончившего жизнь самоубийством, вышел к проблеме трагичной «*цикличности*» революций: «из рабства рождается вольность, из вольности рабство». Так считал

Радищев, рассматривая эпоху гражданских войн в Древнем Риме и революции XVII—XVIII веков в Англии, Америке, Франции. Такую обратимость революционных завоеваний он назвал «законом природы», отдав дань «натурализму» XVIII столетия.

Замысел у нас с Юрием Григорьевичем Буртиным, который вел в «Новом мире» мою статью, был куда более обширный, чем статья «Радищев и Робеспьер». Мы с самого начала запланировали серию статей «Человечество в школе революций». Но заглавие предполагаемого цикла предусмотрительно снял Главлит — дабы не возникало нежелательных «аллюзий». Главлит же не допустил в 1968 году публикации уже набранной статьи «Чернышевский и Шлоссер», где я делился с общественностью сведениями о новой находке и рассказывал о законе «цикличности революций» Чернышевского. Главлит стоял насмерть: подниматься выше XVIII века — ни в коем случае! Набор пришлось рассыпать.

Свою третью статью «Ленин и Каутский» я в «Новый мир» не сдавал — Главлит просто объявил бы ее «контрреволюционной».

Надо добавить к этому, что к 1968 году и первая моя статья «Радищев и Робеспьер», пропущенная Главлитом, видимо, «по недосмотру», была отнесена властями к недопустимому «инакомыслию» — ее не только одобрила общественность, но и начали изучать — вот ужас! — в студенческих кружках! Развивавшую идеи этой статьи книгу Ю.Ф. Карякина и Е.Г. Плимака «Запретная мысль обретает свободу» (1966) отправили в спецхраны, где таковых не было — велели уничтожить...

А в конце 1968 года и статья «Робеспьер и Радищев», и книга «Запретная мысль обретает свободу», и книга В.В. Пугачева «Об эволюции взглядов А.Н. Радищева» (1966), и одобренные книгу Ю.Ф. Карякина и Е.Г. Плимака рецензенты А. Володин, Ю. Сенокосов, Вл. Анненков были все скопом подвергнуты критике в журнале «Коммунист» (№ 10) известным литературоведом Георгием Штормом, кстати, так и не изучившим ни одной революции! В погромной статье «Против мнимого новаторства. Рецензия на рецензии» он обвинил проповедников новых идей в «ненаучности» их взглядов, «либерализации истории революционной мысли в России» и даже «в попытке спроецировать уроки отдаленного “осмнадцатого столетия” на гораздо более близкое нам время — на первые послеоктябрьские годы и даже наши дни».

Но самое печальное было, пожалуй, не в безграмотной критике наших взглядов, а в том, что наши книги перестали печататься. Об этом мы узнали, посетив издательство «Мысль», с которым у нас был договор на издание книги «Чернышевский или Нечаев?» (мы даже получили

аванс). «Расторгать с вами договор мы не будем, — сказал нам Антонов (он уже заведовал Редакцией), — а вот сколько лет рукописи придется полежать, сказать не могу. Но, думаю, ваше время придет». Разговор состоялся в 1966 году, время издания книги пришло в 1976-м! Так нам приходилось работать... Вышедшую книжку трех авторов: А.И. Володина, Ю.Ф. Карякина, Е.Г. Плимака, быстро раскупили.

Уже в 1966 году ко мне пришло ясное осознание того, что критика и запрет наших исследований были частью избиений специалистов и целых творческих коллективов, решивших обновлять науку в духе постановлений XX съезда. Мы просто попали в общий поток избиваемых, и вот об этом стоит поговорить особо.

XX съезд КПСС и историческая наука

Казалось бы, XX съезд обещал покончить с постоянными позорными кампаниями, которые шли одна за другой в сталинские времена: громили «троцкизм» в историко-партийной науке, «покровщину», «рубинщину», «александровщину», «переверзевщину», «деборинщину», порочные явления в литературе и даже в музыке! Но кому понадобились избиения, когда умер Сталин, а до этого — его талантливый холуй Жданов?

Дело было здесь не так-то просто. Доклад Н.С. Хрущева, который «изготовил» акад. Поспелов, вообще не вскрыл суть явления, названного на съезде «культом личности». Он лишь приподнял завесу над некоторыми одиозными явлениями «сталинщины»: избиениях большинства состава XVII съезда и избранного ЦК, массовых арестах командных кадров; в довольно туманной форме Хрущев намекнул о возможной причастности Сталина к убийству Кирова, добавив, что здесь надо разбираться и разбираться.

Более того, в докладе были подчеркнуты положительные моменты деятельности Сталина, ему была приписана заслуга в проведении генеральной линии партии в борьбе с «опозицией», которая якобы препятствовала строительству «социализма». Если вдуматься, получалась вообще странная картина: оппозиционеров обвиняли в том, что они хотели убить Сталина и его сподвижников, но на деле все произошло как раз наоборот — их всех, кончая Троцким, поубивал Сталин! Но этого темного дела Хрущев даже не касался. Никто на съезде вообще не понимал, что под вывеской СССР возникло новое эксплуататорское общество, осуществилось то, чего так боялся Ленин, когда диктовал: «Нам бы для начала достаточно буржуазной культуры, нам

бы для начала обойтись без особенно махровых типов культур до- буржуазных порядков, т.е. культур чиновничьей, или крепостнической т. п.» (*В.И. Ленин*. ПСС. Т. 45. С. 389). Сталин и его сподвижники к созданным ими «махровым типам культур» прибавили еще и необузданный терроризм.

После XX и XXII съездов призывов «сверху» к историкам исследовать смело, правдиво, глубоко историю того «столбового пути» к социализму, который предлагало руководство КПСС как *пример для народов всего мира*, хватало с избытком; но этого историки даже при всем желании сделать не могли. На столбовом пути «коноводы» задавили миллионы людей, уничтожили не только «оппозицию», но и большую часть старой ленинской партийной гвардии, да и много новых назначенцев; заставили трудиться в труднодоступных регионах страны в лагерях ГУЛАГа, притом безвозмездно, миллионы «классовых врагов» и «контрреволюционеров» (к описанию ужасов ГУЛАГа в 60-х годах приступил А. Солженицын, потрясший всю казенную идеологию).

Тем более не могли восстановить картину реальной советской истории наши историки, что в СССР и после XX съезда была сохранена и даже усилена *сталинская система контроля, надзора над «наукой»*, которую осуществляли «всеведующий» Главлит и редактора в Издательствах и журналах (да и КГБ). Ни одно перо не могло коснуться «запретных» тем, и ко всему этому действовала система «самоцензуры»!

Единственно, кто блаженствовал после XX съезда, так это историки партии: раз Сталин оставался «вождем», отстоявшим «генеральную линию» партии, они продолжали переписывать (с небольшой правкой) «Краткий курс», по-прежнему изображая ленинский ЦК сплошь набитым «врагами народа».

И было еще одно удручающее обстоятельство: на отдел науки ЦК Леонид Ильич поставил своего «родственничка» Сергея Павловича Трапезникова — ярого сталиниста! Уделим ему — перед описанием его главной провалившейся акции по отмене «периода культа личности» — несколько слов, предоставив ему возможность высказаться самому. Мы имеем в виду никем пока не разобранный книгу: *С. П. Трапезников*. На крутых поворотах истории. М. 1971.

Уровень мышления да и погромный стиль работы этого обскуранта-сталиниста в немалой степени определил общий упадок нашей общественной науки в 70—80-е годы. Но он вполне соответствовал уровню самого Брежнева и его окружения и вполне всех их удовлетворял.

Как виделись С.П. Трапезникову «крутые повороты истории»?

Книга Трапезникова была курсом лекций, читанных на уже приевшуюся историко-партийную тематику, как-то: «Революционный локомотив — на верных социалистических рельсах», «Социалистическое сотрудничество рабочих и крестьян — ярчайшее проявление ленинских идей», «Ленинские принципы социалистического хозяйствования» и прочее в том же духе. Но неповторимым чисто сталинским душком отдавали три начальных раздела, посвященных критике современного ревизионизма.

Во-первых, появление ревизионизма в немецкой СДПГ после смерти Энгельса и в партии Ленина после его смерти изображалось результатом «коварной работы империализма» по разложению рабочего движения изнутри «посредством засланной туда своей агентуры!» Во-вторых, именно эти части были напичканы сугубо сталинской терминологией: «собака вернулась к своей блевотине», «троцкисты и бухаринцы быстро снюхались» и т. п., а сам рассказ о внутрипартийной борьбе в ВКП(б) был строго выдержан в духе «Краткого курса». В-третьих, книга содержала бесподобную ругань (именно не анализ, а ругань) по адресу зарубежных ревизионистов, к примеру: «В своих последних двух скороспелых работах «Большой поворот социализма» и «Вся правда» Гароди полностью раскрыл свое ренегатское нутро. С одной стороны, он изрыгает змеиную слюну, клеветы мерзости, инсинуаций. С другой стороны, он вьется ужом, льстит, клянется в верности марксизму». Аналогичные оценки заслужили Джилас, Дедиер, и, конечно же, Бернштейн. Прелесть что за аргументы!

Единую для историков Запада и СССР историческую науку, которая изучала древнейшие образования, Трапезников вообще не выносил, структурный анализ объявлял плодом «примиренческого подхода к модным на Западе антимарксистским концепциям» и даже стремление к прочтению Маркса в свете новых исторических данных считал... занесенным с Запада фальсификаторами. В одну дудку с ними «подпевают и некоторые наши псевдотеоретики, призывающие к так называемому новому прочтению марксизма-ленинизма». Положение Энгельса-Ленина о необходимости ревизии марксизма с каждым «составляющим эпоху открытием» оставалось для этого мракобеса тайной за семью печатями (См.: *В.И. Ленин*. ПСС. Т. 18. С. 286). Трапезников на одном из заседаний так и заявил: «Наши историки закопошились в марксизме. Надо этому положить конец!» Одним словом предстояли погромы — то ли наших историков, пользовавшихся структурным ана-

лизом, то ли философов, работавших над марксистским пониманием исторического процесса.

Содержала рассматриваемая книга и бесподобные формулировки, где автор характеризовал современную историческую обстановку: «Призрак коммунизма расширился и углубился!» Или еще: «Прямо говоря, в нынешних условиях империализму было бы не под силу удержаться на своих старческих ногах, если бы не раскольническая деятельность правых реформистов и «левых» авантюристов, которые с разных сторон подпирают это гниющее и разлагающееся дерево». О том, что даже «гниющие и разлагающиеся» деревья «ног» все-таки не имеют, редакторы промолчали. Так и остались эти красоты... О расправах, учиненных этим брежневским монстром в науке, и пойдет дальше речь. Но сначала расскажем о самой главной неудаче двух родственников.

Неудавшаяся акция двух родственников

Тридцатого июня 1966 года в газете «Правда» появилась инспирированная, видимо, Трапезниковым (сведения А.М. Некрича¹⁰), статья «Высокая ответственность советских историков». Ее подписали академик-секретарь Отделения исторических наук Е.М. Жуков, его заместитель В.И. Шунков и главный редактор журнала «Вопросы истории» В.Г. Трухановский.

Первая половина статьи была напичкана дежурными фразами об успехах, с которыми советская историческая наука встречает XXIII съезд. Главное содержалось во второй половине статьи. В развитии советской науки обнаружились «немалые недостатки», «допущены некоторые новые ошибки в основном субъективного характера», отдана дань конъюнктурщине, плохо поставлена «научная критика». Развенчание партией и народом культа личности благотворно отразилось на жизни советского общества, в частности на развитии общественных наук, признавали авторы. Но, к сожалению, однако, в этом деле сказались чуждые марксизму субъективистские влияния (!), нашедшие отражение также в трудах историков. *Получил распространение ошибочный немарксистский термин «период культа личности» (!!).* Употребление этого термина, преувеличение роли одного лица (!) вольно или невольно вело к умалению героических усилий партии и народа в борьбе за социализм и обеднение истории (!!).

Наш народ ждет от историков безусловно объективного освещения истории советского общества, заявляли авторы статьи.

Историки антисталинского направления расценили эту статью как подготовку к ревизии решений XX и XXII съездов КПСС. Просталинская часть историков ликовала — и таких еще было немало. Во всяком случае все понимали: появление в «Правде» да еще накануне XXIII съезда установочной статьи о ликвидации понятия *«период культуры личности»* было *абсолютно немыслимо* без санкции *самых высших партийных инстанций*. Все ждали съезда.

Но в «верхах», видимо, обнаружили разногласия и несогласия, что-то «не сработало». На самом съезде ни Брежнев, ни Подгорный, ни Косыгин о ликвидации «периода культа личности» не обмолвились ни единым словом. Все они говорили только о практических задачах строительства социализма; съезд демонстрировал «монолитное единство партии». Но зато явно усилился поход против малейшего обновления исторической науки после XXIII съезда КПСС. Правда, в то же самое время борьбу за ее обновление начал большой коллектив Института истории АН СССР, возглавленный «мятежным» парткомом В.П. Данилова.

«Мятежный» партком Института истории АН СССР и его работа

В статьях о появлении в ноябре 1964 года некоего «мятежного» даниловского парткома обычно указывается, что он был избран в академическом Институте истории в результате впервые проведенных «демократических (!) выборов». Но как произошло такое отступление от партийных традиций (в больших коллективах и состав парткомов, и секретарь его подбираются заранее и утверждаются «инстанциями»), вроде бы ясно никто не рассказал.

Переизбираемый в Институте в ноябре 1964 года партком, членом которого я состоял — от журнала «История СССР», входившего по партийной линии в парторганизацию Института, — был простым придатком директора и не оказывал никакого серьезного влияния на дела в Институте (я в нем ведал воспитательной работой). Секретарем парткома была некая Елена Голубцова, бывшая очередным «карманным секретарем» директора. Абсолютно чуждая институтским делам, она тихо делала свою карьеру (отслуживших срок секретарей обычно повышали в должности «за заслуги»). Кстати, она перешла на партработу с профработы и сохранила все свои профсоюзные привычки. Вести с ней дела было просто невозможно — она никогда не выполняла согласованного с нею. В угоду Владимиру Михайловичу Хвостову —

директору Института — ее снова прочили в секретари, да и весь состав парткома утвердили «свыше».

Я не собирался быть на перевыборном собрании, ибо отпросился съездить в Ленинград, где в эти дни проходила интересовавшая меня конференция по «Русскому дворянскому просвещению XVIII века». И вот, когда я был занят написанием выступления на конференции, раздался телефонный звонок. «Евгений Григорьевич! — услышал я в трубке знакомый голос Гефтера. — Вы не могли бы сегодня заехать ко мне?». «Да я собираюсь на конференцию в Ленинград, уже отпросился», — ответил я Гефтеру. «А я именно по поводу Вашего отъезда звоню», — уточнил Гефтер. Я понял, что случилось нечто важное, и через час был уже в его небольшой квартирке, которую нередко посещал в те годы, общие темы для разговоров находились.

Наш недолгий разговор запомнился мне надолго, ибо у него были немаловажные последствия.

«Вы уезжаете в Ленинград как раз в очень важное для Института время, — сказал мне Михаил Яковлевич. — Предстоит переизбрать партком. Нам навязывают прежний его состав. Как член парткома Вы знаете, какая это никчемная организация. А непосредственно Вы в Институте не работаете, от Хвостова не зависите (я числился в кадрах журнала «История СССР»). Надо все же когда-то попытаться избрать дееспособный партком, тем более, что Хрущева убрали, ситуация не ясная. Вы можете здесь во многом помочь». Направить против набирающего силу неосталинизма научный коллектив в 300 человек было неплохой задумкой Гефтера, да и не думаю я, что действовал он в одиночку... Я дал свое согласие.

Через час, добравшись домой, я сел писать свое выступление на завтрашнем собрании — я не люблю экспромптов в делах важных...

Собрание начиналось вроде бы в 12, я пришел к Институту чуть раньше, мы побродили около Института с подошедшим Тарновским; Констанина Николаевича, лучшего нашего специалиста по империализму, я знал то журнальным делом. Он ожидал многочасовую «тягомотину», я его не переубеждал.

После отчетного доклада Голубцовой я тут же попросил слова и обвинил партком в полном отстранении от руководства научной работой Института, ее идейным содержанием. Факты у меня были. Уже пару лет валялся, проходя ненужные «инстанции», разные «согласования», добротный двухтомный труд по истории коллективизации, созданный коллективом Виктора Данилова, в нем использовались архивные материалы, показывающие губительные последствия для деревни сталинской «революции сверху». Подолгу «манежились» тома «Истории Рос-

сии с древнейших времен до наших дней» — редколлегия ждала, куда повернет конъюнктура. Затем я прямо обвинил Хвостова в полнейшем равнодушии к прохождению в печать книг, выражающих линию именно XX съезда.

Собрание взорвалось (Гефтер тихонько сидел в уголке в первых рядах и наблюдал за происходящим). «Проколов» в институтской работе оказалось куда больше, чем я предполагал. Члены прежнего парткома просто отмолчались, зато трибуну заняли ученые со своими проблемами. Я не помню, кто и как поставил вопрос ребром: нам нужен совершенно новый партком, нужный не одной только Дирекции; Хвостов — что было нарушением традиции, — видя возмущение Института, отказался войти в состав парткома, его первый Зам С. Гапоненко — также, с трудом уговорили баллотироваться второго Зама — яркого сталиниста А.И. Штрахова. Зато в новый партком вошли восемь докторов наук, что было против всяких правил и традиций!

На другой день, когда члены нового парткома собрались было избрать Секретарем Костю Тарновского, к нам приехал второй секретарь Октябрьского райкома Борис Николаевич Чаплин (вскоре, после разделения райкомов, он станет первым секретарем Черемушкинского райкома). Был он партработником со сложной биографией. Его отца, Секретаря ЦК ВЛКСМ, расстрелял Сталин, но Чаплину доверили партийную работу, да и кандидатом технических наук сумел он стать, незаурядный, видимо, был человек. Чаплин благожелательно поздравил вновь избранный партком с таким «блестящим» составом, но вот с нашей кандидатурой Секретаря не согласился. Никаких объяснений не давая (я так думаю, что кто-то «засек» нашу с Тарновским прогулку перед собранием и его считали зачинщиком всей «смуты»!) Чаплин просто сказал: я поговорю с каждым из вас в райкоме, и мы согласуем всем приемлемую кандидатуру вашего Секретаря.

Свой разговор в райкоме с Чаплиным я помню. «Чем объяснить Ваш столь резкий выпад против директора?» — спросил он у меня. «Вы знаете, — ответил я дипломатично, — у меня нет никаких претензий к Хвостову как к ученому, ему не зря “дали” академика. Но он никуда не годный руководитель Института, не “болеет” захождение работ, живет одними указаниями “свыше”, никакого курса или плана на обновление исторической науки у него нет, он окружил себя подхалимами». Вскоре Хвостова убрали и перевели на какую-то педагогическую работу, удержать в своих руках Институт он не сумел. О чем говорил Чаплин с другими членами парткома, я не знаю. Но через неделю-другую он снова приехал к нам на партком и предложил избрать Секретарем Виктора Петровича Данилова. Данилов был всего лишь кандида-

том исторических наук, и Хвостов, с которым Райком, несомненно, советовался, видимо, решил, что Данилов будет покладистым секретарем. Но вот покладистости в делах Данилов не обнаружил. Так, он прежде всего организовал из членов парткома Комиссию по выработке доклада, основанного на предложениях отчетно-перевыборного собрания. Назывался доклад внушительно: «Советская историческая наука и задачи парторганизации Института истории АН СССР». Основными авторами доклада были В.П. Данилов и К.Н. Тарновский, им помогали члены специально избранной Комиссии: Е.Н. Городецкий, А.М. Некрич, Я.С. Драбкин, В.Т. Пашуто и я. Хотя формулировки доклада смягчал Хвостов, доклад остался острым. Он требовал допуска историков к архивам (особенно советского периода истории), отказа от «фигуры умолчания» в отношении соратников Ленина, ограничения вмешательства цензуры в содержание научных работ, демократизации жизни Института, расширения прав Ученых советов.

Я не работал в самом Институте истории, а через год после перевыборов парткома вообще выбыл из его состава в связи с переходом на работу в Институт философии АН СССР в Сектор исторического материализма к Владиславу Жановичу Келле, эрудированнейшему «истматчику» (этот сектор затем делают Отделом). Поэтому в описаниях происходившего в Институте истории я буду теперь ссылаться на воспоминания членов парткома. Вот что писал А.М. Некрич: «Авторитет парткома 1965 года был очень велик. Прямо на глазах менялась атмосфера в Институте. Люди стали более смелыми в своих выступлениях, более независимыми в своих суждениях, ибо они чувствовали поддержку, они могли рассчитывать на помощь партийного комитета, если они были правы. Это были удивительные месяцы. Спустя год после ухода Хрущева идеи, заложенные XX и XXII съездами КПСС, стали неотъемлемой частью внутриинститутской жизни».

Нельзя сказать, что историки-сталинисты сдавали свои позиции без боя. Еще при мне партийные собрания превращались в настоящие научные баталии (особенно по вопросам истории партии страсти накалялись, многие не выдерживали напряжения, нашего специалиста по столыпинщине Авреха увезла неотложка — с ним случился инфаркт). По особо острой теме: о ленинской и сталинской борьбе с оппозицией партком доверил мне даже провести публичную лекцию. Собралась большая аудитория — вопрос всех волновал. Мне на собрании пришлось скрестить шпаги с моим Главным — В.Д. Мочаловым; он был одним из авторов «Краткой биографии Сталина» и своих позиций не сдавал.

С большим парткомовским докладом, ратовавшим за избавление науки от связывающих ее и *после XX съезда* пут, В.П. Данилов выступил

на закрытом партсобрании 19 февраля 1966 года. Доклад был не только одобрен коллективом, но и рекомендован к печати, и партком отправил его в Издательство «Наука». Но там против публикации такой «крамолы» выступили решительно Комитет по делам печати и, естественно, Главлит...

Нас не только не поддержали — от Трапезникова поступила прямая угроза: разделить Институт и тем самым ликвидировать партком. С помощью своих родственных связей он в свое время этого добьется и объявит раздел самой большой победой исторической науки! Чего после этого стоили все лицемерные призывы «сверху» к ее обновлению...

Как «стряпалось» дело Некрича

Вскоре наши опасения, что нам так или иначе не дадут работать, подтвердило «дело Некрича», написавшего в конце 1964 года книгу на острой тему: «1941. 22 июня». Книга показывала личную ответственность Сталина за катастрофические поражения начала Отечественной войны. Будучи человеком весьма осторожным и предусмотрительным, Некрич в своей книге говорил о гигантской работе партии и народа по повышению промышленного уровня страны, созданию мощного ВПК на Востоке, он перенес акцент на довоенные переговоры, но все же не мог обойти тему ответственности Сталина, взявшего дело безопасности страны исключительно в свое личное ведение и отвергавшего все требования наркома обороны и начальника генштаба о приведении страны в боевую готовность. Грифа Института Некрич вообще на книге не поставил, но мы все же за нее отвечали — он был членом парткома. Замдиректора А. И. Штрахов объявил на одном из заседаний книгу Некрича «порочной», «антипатриотичной», в ее защиту выступили С. И. Якубовская, Б. Г. Литвак, а В. П. Данилов назвал Некрича «настоящим коммунистом, настоящим ученым». Некрича переизбрали в новый партком, и голосование (200 «за» и 100 «против») отразило расстановку сил в Институте.

Между тем тучи над головою Некрича сгущались. Правда, на обсуждении книги в ИМЛ книга была одобрена всеми выступавшими (были и замечания); но все понимали антисталинскую направленность книги.

Уже другая ситуация начала складываться к концу года. Книгу начали перепечатывать за границей, проникла за границу и стенограмма заседания в ИМЛ, сделанная Петровским. Кстати, заседание было открытым, присутствовало свыше сотни сотрудников нашего Института. Все это заинтересовало органы КГБ, госпрокуратуры, самого Председателя КГБ.

Правда, данные о последовавшем расходятся в деталях, но не в главном. По версии Я.С. Драбкина, изложенной в статье «Даниловский партком и “дело Некрича”», само «дело» возникло после доклада Председателя КГБ Семичастного 2 марта 1967 года Брежневу о происходящем, после чего Комитету партийного контроля при ЦК КПСС было поручено провести «партийное расследование», а проф. Г.А. Деборину дано задание (до всякого расследования!) подготовить разгромное «обоснование».

Несколько иначе излагает «дело» сам Некрич. «Сначала меня сфотографировали в Москве представители фотохроники ТАСС по просьбе одного западногерманского журнала. Затем 18 марта 1967 года «Шпигель» поместил мой портрет, сделанный в Москве, и большую статью о книге, ее обсуждении и ответственности за неподготовленность к войне. Статье была предпослана врезка. Ее текст и послужил толчком к началу партийного дела против меня. Во врезке было среди прочего написано, что на XXIII съезде руководитель КПСС Брежнев хотел реабилитировать Сталина. Этому воспротивилась группа прогрессивно настроенной интеллигенции, военные, ученые и др. Их мнение выражено в книге «1941. 22 июня»...

Вскоре заведующий отделом науки ЦК Трапезников продемонстрировал этот номер журнала группе приближенных к нему историков. Затем, как мне говорили, он показал этот номер Брежневу, приведя последнего в ярость от фразы, будто он хотел реабилитировать Сталина. Брежнев отдал приказ Комитету партийного контроля при ЦК КПСС начать партийное следствие по поводу книги «1941. 22 июня», обстоятельств вывоза стенограммы дискуссии в ИМЛ за границу и использования книги буржуазной пропагандой».

Как бы то ни было, в КПК начались допросы Некрича, их результат был суммирован на заседании КПК, который вел сам Пельше. Ему доложили полностью фальсифицированные данные: при обсуждении книги в ИМЛ ее не одобрили, а осудили. Сам автор не отмежевался от выступлений антипартийных. Его собственные выводы не соответствуют концепции советской исторической науки и похожи на выводы буржуазных ученых. Он доказывает, что тотальной мобилизации Германии противостояла бездеятельность советского правительства, что советско-германский пакт был выгоден только Германии. Получается, что советское правительство было обмануто, следовательно, очерняется советское правительство. За рубежом книга подхвачена враждебной пропагандой.

Автор был исключен «за преднамеренное извращение в книге «1941. 22 июня» политики коммунистической партии и Советского правительства в начальный период Великой Отечественной войны, что было

использовано зарубежной реакционной пропагандой в антисоветских целях». Характерно, что секретаря парткома Данилова вообще не допустили на заседание КПК, а парткому пришлось после извещения КПК вывести Некрича из состава парткома. Причем партком снова проявил непослушание — он только принял к сведению, а не одобрил решение КПК.

А вскоре в «Вопросах истории КПСС» № 9 за 1967 год появилась убогая и подлейшая, вполне достойная решения КПК статья Г.А. Деборина и Б.С. Тельпуховского «В идейном плену у фальсификаторов истории». Некричу приписали здесь, что он отрицает «закономерность победы СССР в Великой Отечественной войне», и стали обучать политграмоте на уровне кружка политпросвета, рассказывая о преимуществах социализма, которые сделали нашу страну непобедимой. Уже в первые месяцы войны, уверяли авторы, «выяснилось, что военная авантюра гитлеровцев обеспечена на провал». И это писалось о времени, когда из-за просчетов Сталина немцы уничтожили в Европейской части СССР почти всю кадровую РККА, взяли в плен 3,2 млн ее бойцов, окружили Ленинград, подошли к Москве, взяли Киев. Забыв об этих поражениях, о поражениях 1942 года, авторы кощунственно писали: «22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г. — эти две исторические даты неразрывно связаны между собой!» Книгу Некрича они назвали «находкой для идеологов империализма, для клеветы и пропаганды против СССР».

А в августе 1968 года *совсем по родственному* «решением ЦК КПСС» Институт истории АН СССР, вознамерившийся взяться всерьез за изучение истории, был разделен на два: Институт истории СССР и Институт Всеобщей истории; от «мятежного парткома» избавились. А ведь еще великий революционер-мыслитель Чернышевский знал истину: «Русская история понятна только в связи с всеобщей, объясняется ею и представляет только видоизменение тех же самых сил и явлений, о которых рассказывается во всеобщей истории» (ПСС. Т. VII. С. 268). Но какое дело погромщикам науки до ее истин?

Разгром Сектора методологии М.Я. Гефтера

Трапезников же устроил годом позже погром — теперь уже в Институте истории СССР. Поводом послужило издание Сектором методологии М.Я. Гефтера книги «Историческая наука и некоторые проблемы современности» (1969).

В книге содержался интереснейший доклад Я.С. Дробкина «Нерешенные проблемы изучения социальных революций», сделанный еще

4 октября 1966 года, когда вышла и моя статья «Радишев и Робеспьер» (мы мыслили, можно сказать, параллельно).

Докладчик между прочим коснулся «цены революции», а также «отката революции назад», сославшись на Ленина, который сопоставлял при этом Французскую революцию с нашей, что у нас в официальной науке было категорически запрещено. Но особое негодование Трапезникова вызвала констатация выступавшего по докладу Драбкина А.А. Галкина который прямо так и сказал: «В развитых странах капитала рабочий класс противостоит обществу не как инородное тело, а скорее, как его составная часть» (С. 243). Это было сочтено «антимарксизмом», и Сектор просто ликвидировали. Отрешенный от должности Гефтер был перемещен в Институт всеобщей истории, где томился Некрич, безуспешно пытаясь пробить свои работы в печать. Помучившись лет девять, он просто ушел в эмиграцию. А вот Гефтер, лишенный коллектива и превращенный в простого порученца директора, подал заявление об увольнении из Института, а потом положил свой партбилет на стол Секретарю Райкома. Я в то время не одобрил его ухода из партии, еще думая в ее рамках побороться за науку. Время показало, что я глубоко ошибался...

Разгром Трапезниковым Отдела актуальных проблем исторического материализма В.Ж. Келле Института философии АН СССР

В 1966 году, уже кандидатом исторических наук, я перешел на работу в Институт философии в сектор (затем он стал Отделом) исторического материализма, которым руководил Владислав Жанович Келле. В это время у него возник неплохой замысел: написать книгу «Марксистская теория исторического процесса» и сокрушить стандартные компиляции, писавшиеся по 4-й главе «Краткого курса», и показывавшие при посредстве «пятичленки» весь ход истории вплоть до коммунизма. Правда, формаций сам Маркс насчитывал шесть, но «азиатскую» Сталин отбросил (я уже говорил): зарубежный историк Виттфогель где-то в конце 20-х годов доказывал, что таковая весьма походит на сталинский режим.

Для будущей интересной книги Келле подыскивал интересных авторов и обратил внимание на творцов книги о «мистере Коне». Правда, Ю.Ф. Карякин пребывал в Праге, но в Москве был Е.Г. Плимак. Его он и пригласил в свой сектор. У меня были клочки знаний по истории, полученных в журнале «История СССР», но стоило подумать и над общей концепцией, раз таковая требовалась. Моим соавтором и другом стал

Юрий Мефодьевич Бородай — философ-гносеолог по специальности. Поскольку он писал книгу «Генезис человеческого сознания», ему приходилось обращаться к древнейшим пластам человеческой истории, что Келле и требовалось. Основой знаний Бородай были Фрейд, которого неизвестно почему держали в спецхране, Лосев, знаток античности, но никак не Маркс. К своему удивлению Бородай обнаружил, что его знания совпадают с положениями рукописей Маркса, которые в это время издавал ИМЭЛ и с изучения которых мы начали работу. Но удивительного в этом ничего не было — и Маркс, и мы изучали одни и те же периоды истории.

Ко всему этому на Отдел была возложена почетная задача — отметить книгой 100-летний юбилей Ленина — тогда *все* подразделения общественных наук этим и занимались; настоящее безумие!

А еще Келле сделал меня своим Замом и я отсидел немало скучнейших часов на заседаниях дирекции, где ничто меня не интересовало. А вот наблюдать, как на твоих глазах таял Директор Института Копнин, было по-человечески тяжело — его съедал рак, и врачи были бессильны помочь ему. После таких заседаний работа валилась у меня из рук.

В 1970 году вышла наша книга «Ленинизм и диалектика общественного развития» и Ф.В. Константинов немедленно созвал Отделение философии и права АН СССР для ее осуждения. Предметом осуждения стала моя глава «О ленинском и сталинском подходе к оппозиции»... Начальству она показалась «крамоллой»...

В своем выступлении на Отделении — народу набилось много — я не защищался, а нападал. Позор, говорил я, продолжать выпускать «Истории партии», повторяющие сталинскую концепцию «злого умысла» оппозиционеров. Сталину в его «Кратком курсе» требовалось обосновать расправу над ними, да и вообще над соратниками Ленина, судимыми на фальсифицированных процессах. Но эта «концепция» противоречит и ленинскому подходу к оппозициям в партии, фактам и здравому смыслу. Получается, что ленинское руководящее ядро в партии было набито антиленинцами, которым он доверял ответственные посты в самые сложные периоды жизни советской власти. Их частные ошибки объяснялись гносеологическими причинами: неумением понять своевременно смену ситуации, запозданием с переходом на новый путь и т. п.

Выступил против меня один только Мрак Борисович Митин (оправдывая имя, данное ему в Институте философии). Он раскопал цитату Ленина, что позиция Бухарина в период Бреста нанесла «вред» стране, и прилагал ее ко всем «оппозиционерам». Никакого гносеологического подхода он не признавал. Все расстрелянные Сталиным бы-

ли «врагами народа». В остальном ораторы набросились на главу Батищева «Ленин о воспитании молодежи» — надо же было о чем-то еще говорить, он что-то невразумительное бормотал в ответ. Константинов принял мудрое решение: нашу книгу вообще не включать в список книг, выпущенных к юбилею Ленина! Я видел этот список — пухлую книгу; нас там, действительно, не было. Но кто вообще руководствовался этой книгой?.. Затем Федор Васильевич... поблагодарил меня за «смелое выступление» и все закончилось... Пока...

В 1972 году вышла наша марксологическая книга «Принцип историзма в познании социальных явлений». На ее разгром была брошена уже Академия общественных наук СССР. Организовано было обсуждение книги под вывеской «Актуальные проблемы марксистско-ленинского учения об общественных формациях», но каким-то потайным образом. Научную общественность, в том числе и таких знатоков, как Барг, Штаерман, Гуревич, как раз критикуемых в печати, вообще не пригласили, стенограмму выступлений издала под грифом «Для служебного пользования» — кому она шла — неизвестно, но только не в библиотеки и не ученым, они ее не получали.

Г.Е. Глезерман, основной «погромщик» у М.Т. Иовчука, назвал собственноручно три подлежащие рассмотрению книги: М.А. Виткина «Восток в философско-исторической концепции Маркса» (М., 1972), злополучную книгу М.Я. Гефтера «Историческая наука и некоторые проблемы современности» и нашу книгу «Принцип историзма в познании социальных явлений», она, подчеркнул он, «заслуживает особого рассмотрения». Но, увы! Никто эти книги рассматривать не стал.

Выступивший с докладом Ю.И. Семенов защищал «азиатскую формацию», а вот в существовании «рабовладельческой» выразил сомнения. Отношения рабства в древности были, но рабовладельческие образования не были доминирующими и не превратились в своем развитии в феодальные, а исчезли, погибли. Феодальными же стали новые социальные организмы, которые возникли на их развалинах. Кстати, и Маркс где-то упоминает о ряде неизвестных нам «социальных революциях», предшествовавших феодализму (видимо, вторжениях варваров в Европу).

«Ортодоксы» В.Н. Никифоров, Ю.В. Качановский с пеной у рта отстаивали «пятичленку», причем Качановский привел и такой аргумент: его коллега изучил, оказывается, 1052 исторические работы, но ни у кого «азиатской формации» не заметил. От такой эрудиции он, наверное, и лишился понимания истории... Э.А. Араб-Оглы, кстати, заметил, что западные ученые тоже не отрицают стадийность исторического процесса, только наименования у них другие: традиционное

общество, индустриальное, постиндустриальное. Н.Б.Тер-Акопян втолковывал Никифорову понятие о специфике восточных деспотий и т. п. Но все это было не то, чего хотели устроители конференции, — никакого погрома не получилось...

Более целенаправленной оказалась вторая, тоже «законспирированная» от научной общественности конференция 18—19 ноября 1975 года по поводу другой вышедшей нашей книги «Наследие К. Маркса и проблемы теории общественно-экономической формации». Эта конференция проводилась силами Объединенного Ученого совета Института марксизма-ленинизма, Академии общественных наук и Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

Открывший ее М.Т. Иовчук вообще запретил обсуждать «азиатскую формацию», а сосредоточиться исключительно на книге трех авторов — Ю.М. Бородая, В.Ж. Келле, Е.Г. Плимака. Теперь все приглашенные знали, что им надо было о ней говорить, их «накачали» заранее. Свое суждение имели о книге все — кто ее вообще не прочел, и те, кто ограничился первыми страницами и не стал влезать в тексты — все равно непонятно. Были и немногие, которые книгу одолели, но в ней увязли.

Выступавшие упрекали авторов в том, что не привлечены к анализу труды Энгельса и Ленина. Но авторы выясняли только историческую подоснову «*Капитала*» Маркса. И существовали же книжки «Марксисторик», «Энгельс-теоретик», и к ним никто не придирался!

Почти все выступавшие критиковали введенный Ю. Бородаем термин «самоотчуждение», но надо же было прочесть и разъяснение автора: в своей простейшей «доисторической» форме (первобытное общество) это самоотчуждение, труд вообще, есть способность человека своей «частной», «личной» деятельностью удовлетворять потребности других людей. Этого разъяснения предпочитали «не видеть».

Те, кто книгу все же прочел, запутались в ее категориях и стали вопрошать: почему Маркс в феодальном обществе — *у вас!* — вводит какие-то «личные» отношения кроме каких-то «вещных»? Как это может существовать «внеэкономическое принуждение» и куда же делась у вас экономика? И тому подобное. Единственным человеком, который мог помочь во всем этом разобраться, был наш известный марксолог Г.А. Багатурия, но он увлекся какими-то своими собственными проблемами и ничего, кроме одной фразы: «Но была и чрезмерная критика», не сказал.

Нам следовало бы прочесть целую лекцию о том, что рассмотрение Марксом предшествовавших капитализму формаций было *двояким*: либо он искал там зачатки капиталистических отношений — и тогда появлялись *одни определения*, либо его интересовал, к примеру, феодализм на своей

собственной основе, — и здесь уже был набор *других определений*, каждое из которых требовалось разъяснить. Сделать этого в сумятице конференции нам не удалось, и нас просто приняли за каких-то пугаников.

Единственным содержательным выступлением на этой конференции стала маленькая лекция Бородая. Нарушив запрет Иовчука — не обсуждать «азиатскую формацию», он на ее примере типологически объяснил образование всех восточных деспотий — все в нижних пластах истории основано на разложении племенной общности, на военном столкновении общин. Община-победитель «садится» на побежденную, забирает с нее дань, а сама сосредоточивается на управлении, организации ирригационных или дорожных работ, строительстве дворцов или пирамид, венчая великолепными созданиями труда поработанных общинников строй восточного деспотизма. Весь Восток так и строится — недаром наши востоковеды хорошо приняли нашу книгу.

Но и прекрасная лекция Бородая нас не спасла, присутствовавшие знали, что надо было говорить: «Работа трех авторов не увенчалась успехом», «Тут требуются коллективные усилия» и т. п. Настораживало и Заключение М.Т. Иовчука «Нам (кому это нам? — *Е.П.*) потребуется на основании нашего обсуждения дать всестороннюю оценку разобранной (?) здесь книги» (для кого и чего? — *Е.П.*)...

Но ждать такой оценки не пришлось. Запуганный предстоящим «осуждением» и его книги М.А. Виткин решил уйти в эмиграцию и получил от властей разрешение. А власти получили прекрасный повод разогнать Отдел Келле. Ему дали строгий партийный выговор за потерю бдительности при подборе кадров, а Отдел расформировали. Новый набирали под Ю.К. Плетникова, он на означенной конференции объявил, что «мы обязаны иметь в качестве исходного момента не капитализм, а социализм» (продуктивнейшая идея, если говорить о *чиновничье-крепостническом* сталинском «социализме» с его репрессиями и ГУЛАГом!).

При Плетникове вновь организованный Отдел, отбросив все наши наработки, издаст под руководством самого академика Ф.В. Константинова в блестящей обложке труд «Марксистско-ленинская теория исторического процесса» (украив и подправив в официальном ключе наше заглавие). В книге были разделы: Исторический процесс. Действительность. Материальная основа. Первичное и вторичное... и никакого осмысления работ историков. Книга была набита цитатами «классиков» и исторической науке была не нужна. Пылилась она долго на полках книжных магазинов «Академиздата».

Да и верхушке КПСС подлинные ученые-обществоведы вообще были не нужны.

М.В. Нечкина против книги «Чернышевский или Нечаев?»

Я устроился — после погрома Келле — в находившемся в том же Отделении философии и права АН СССР, Институте международного рабочего движения, где обосновался почти на три десятка лет. Но об этом чуть позже — мне надо рассказать еще о том, что стало с моей темой «цикличность революционных процессов», запрещенной цензурой в «Новом мире» в 1968 году.

Уже в начале 70-х годов я возобновил попытки «пробить» ее в печать и это удалось сделать в 1972 году, когда мы в Отделе Келле издали «Принцип историзма в познании социальных явлений». Начало книги было отведено наследию Карла Маркса, затем Келле включил в книгу статью Бородая о первобытной общине и мою статью о школе Чернышевского—Шлоссера. Чтобы не пугать цензуру, я дал статье неопределенное заглавие «К характеристике некоторых закономерностей движения буржуазных революций». Но случилось нечто, пожалуй, самое неприятное — сборник быстро раскупили, но никаких отзывов на мою статью не было; никем замечена она не была!

Правда, в 1976 году В.С. Антонов после десятилетней «выдержки» в «Мысли» сумел дать зеленый свет книге А.И. Володина, Ю.Ф. Карякина, Е.Г. Плимака «Чернышевский или Нечаев?». В ней были главки: «Современник» открывает «Историческую библиотеку», «Современник» открывает школу политики, Роман «Что делать?» Чернышевского, и вот тут нас «заметили». Именно эти главки прочла М.В. Нечкина, после чего в «Коммунисте» № 2 за 1978 год появилась ее статья «Подвиг Чернышевского», где неким анонимным (!) авторам была приписана «неправильная обрисовка» линии продвижения Чернышевского к революционности. Он-де вовсе не участвовал в «реформаторстве», не было и никакого «обучения Чернышевского у либералов и в школе Шлоссера». Правда, походя уже отмечалось, что писатель подчеркивал в романе «Что делать?»: «Дорога к новому строю трудна, могут быть поражения, откаты назад, гибель борцов, новые приближения к заветной цели» и т. д. — мотивы, *совершенно несвойственные* всем прежним работам Нечкиной. Но и после этих мыслей, заимствованных в «Чернышевском или Нечаеве?», в казенной науке никто сложностями революционного процесса заниматься не стал — *эта тема в ней не поощрялась*.

В статье «Подвиг Чернышевского» Нечкина утверждала к тому же, что никаким документальным материалом представленные концепции не подтверждаются. Но это была уже откровенная ложь. Нечкина,

безусловно, читала статьи Чернышевского конца 50-х годов на тему «Труден ли выкуп земли?», где он приближался к цифрам «Колокола» и Тверского Комитета, она же знала, что Чернышевский публиковал (с небольшой правкой) либеральный проект освобождения крестьян К.Д. Кавелина (что, кстати, скрыл и Ленин). Читала Нечкина и Предисловие Чернышевского к трудам Шлоссера, где он объявлял историка близким к Тациту: у него вы учитесь понимать события и людей. Знала Нечкина, безусловно, восторженный отзыв Добролюбова о 5-м томе «Исторической библиотеки» о Французской революции, где Добролюбов писал «Николай Гаврилович вышел из его школы» (курсив Добролюбова. — *Е.П.*).

Кстати, я вспомнил, как еще в начале 70-х годов я сделал попытку ознакомить со «школой Чернышевского—Шлоссера» главную у нас по изучению Революционной ситуации 1859—1861 гг. Группу акад. Нечкиной. Я представил ей доклад для обсуждения, но она никого из членов Группы с ним не ознакомила, а когда я пришел на заседание группы, напустила на меня «историографа» Алпатова, который «доказывал»: Шлоссер был реакционером (!), у которого учиться Чернышевский не мог, и все мои «данные» об этом лежат «вне науки!» Доклад обсужден не был, не был и опубликован в сборниках Группы — вопреки ее регламенту.

Нечкина лгала отчаянно, ибо рушилась ее концепция, которую запретили сокрушать даже такому прекрасному историку как Б.П. Козьмин — ведь он доказывал, как об этом недавно напомнила В.А. Твардовская (Б.П. Козьмин. Историк и современность. М., 2003), что сферой деятельности Герцена и Чернышевского было не «подполье», не «заговоры», не подготовка «крестьянской революции», а просветительская деятельность. Утвердив свое ложное «парадное» изображение деятельности «шестидесятников» Нечкина за три десятилетия руководства Группой ни разу не упомянула об издании «шестидесятниками» громадной «Исторической библиотеки», пропаганде пособий Шлоссера — *главном* их занятии в 50—60-е годы. Нечкинская ложь устраивала власти, и ей дали полную возможность главенствовать в учебной литературе и казенной науке. Истина властям не требовалась...

Только через 10 лет после Главлитовского запрета в «Новом мире» — в 1978 году М.Е. Козловой и мне удалось опубликовать в журнале «История СССР» № 5 детальную статью о затеянной, «шестидесятниками» громадной «Исторической библиотеке» — издании «родственном» «Современнику» (Добролюбов). К этому времени М.Е. Козлова значительно обогатила тему, проведя сравнительное исследование *характера правки Чернышевским* текста Шлоссера при переводе им с немецкого на

русский рассказа о взлете революции во Франции (начата борьбой в Генеральных штатах и штурмом Бастилии 14 июля 1789 года, до ее пика — якобинской диктатуры 1794 г.). Ей потребовалось для этого года три работы.

Книга сочувствующего Жиронде и вместе с тем объективного историка при «переводе» превратилась в книгу историка, сочувствующего Горе, первый в России «учебник революции», по которому учились Добролюбов, братья Серно-Соловьевичи, Шелгунов, Антонович, издавший в 1872 году 2-е издание шлоссеровского восьмитомника со знаменитым 5-м томом, Кропоткин, другие. Лучше революционная школа в четырех стенах, чем никакой революционной школы, говорил Антонович.

Нечкина так и сошла «со сцены», уверяя читателей, что именно борьба крестьян, а вовсе не поражение России в Крымской войне «вырвала» у правительства «крестьянскую реформу», хотя, впрочем, признала, что выработать «общую концепцию» эпохи реформы — и это за десятилетия «работы» ее Группы! — так и не удалось (см.: «Революционная ситуация в России в середине XIX века». М., 1978. С. 16).

После выхода статьи М.Е. Козловой и Е.Г. Плимака в конце 1978 года нападок на «теорию цикличности» больше не было, но и дальше разрабатывать ее в официальной науке *никто не пытался*.

Правда, в дни юбилея Великой французской революции мне с В.Г. Хоросом предложили выступить со статьей «Великая французская революция и революционная традиция в России» в юбилейном сборнике «Великая французская революция и Россия», дав солидный листаж. Нам удалось детально разобрать «закон природы» Радищева, исследовать эволюцию его взглядов (осуждение Робеспьера, самоубийство), связать его поиск с разработками Маркса, Энгельса, рассказать о школе Чернышевского—Шлоссера в России, сказать о Завещании Чернышевского—ссылного: «Завещание содержит важнейшие моменты, связанные с раскрытием механизма движения буржуазных революций, понимание неспособности народа закрепить свое «самодержавие», неизбежность в определенных условиях захвата власти узурпаторами «пройдохами» вроде Наполеона Бонапарта или Луи Наполеона, на стороне которых оказывалась военная сила. *Бонапартизм* — вот тот исторический феномен, который *больше всего тревожил* Чернышевского, ибо он препятствовал закреплению итогов самостоятельности масс. Крайне важно, что Чернышевский видел в парламентских формах выход из казалась бы вечного круговорота революции и реакции». И в этой статье, и в моей книге «Политическое завещание В.И. Ленина. Истоки, сущность, исполнение» (М., 1989) рассматривался выход Ленина к тео-

рии «цикличности революций» и возможность отката революции назад. В период НЭПа он говорил о возможности Термидора и в России и, в частности, обратился к В. Адоратскому с просьбой: «Не могли ли бы Вы помочь мне найти... ту статью (или место из брошюры? или письмо?) Энгельса, где он говорит... что есть, по-видимому, закон, требующий от революции продвинуться *дальше, чем она может осилить*, для закрепления менее значительных преобразований?» (В.И. Ленин. ПСС. Т. 53. С. 206). О разработках Чернышевского Ленин ничего не знал.

Почему многие мои исследования велись вне ИМРД, где я тогда работал, а в «Вопросах литературы» Л.И. Лазарева или еще где?

Чем я занимался в ИМРД АН СССР?

Период работы в Институте международного рабочего движения АН СССР был самым спокойным и долгим в моей жизни, имел я дело в основном с директором ИМРД Тимуром Тимуровичем Тимофеевым. Ныне ИМРД стал Институтом сравнительной политологии РАН, руководит им Геннадий Юрьевич Семигин. Очень много сил отдает организации творческой работы коллектива ИСПРАН заместитель директора — Юрий Степанович Оганисьян, проблематика активизировалась, стала злободневной, интересной.

ИМРД же в 1976—1985 гг. в основном издавал восьми томную «Историю международного рабочего движения». Я присоединился к Роберту Яковлевичу Евзерову, мы писали разделы о Ленине. Но вообще-то годился многотомник, лишенный объединяющего замысла и набитый трафаретными текстами, более всего для справок, да еще для парадных отчетов. На институтском партсобрании я поднял вопрос об апологетическом освещении нашей «столбовой дороги» к социализму в 5-м томе; правда, в 8-м томе говорилось о решениях XX и XXII съездов КПСС, разоблачении культа личности Сталина, дискуссиях в коммунистическом движении Запада, но мысль о *разнообразии путей к социализму* осталась чужда КПСС, о чем говорит вмешательство СССР и сил Варшавского блока в дела стран народной демократии. Традиции сталинизма возрождал в ЦК «незаметный» Суслов.

В 1980-х годах я работал в Секторе, которым руководил Игорь Пантин. Был он строгим, но справедливым начальником, и коллектив его любил. С ним Сектор издал две приличные книги «Вопрос всех вопросов. Борьба за мир и исторические судьбы человечества» (М., 1985). Работали дружно — З.П. Яхимович, Л. Митева, А. Лебедев, К. Кантор, А. Никитина, я. Ю. Карякин, написал тревожный разделчик «Не

опоздать!». Вторая книга была «Ленин как политический мыслитель». Помню лишь, что соавторствовал с Викой Власовой.

Посещение Института было только по присутственным дням, так что хватало времени для разработки своих сюжетов. В.Г. Хорос привнес в нашу общую книгу от востоковедов продуктивную идею «эшелонирования капитализма» в разных регионах мира (я говорю о нашей книге «Революционная традиция в России»). Потом мы с Пантиним на основе этой идеи выстроили концепцию «догоняющего развития» России. Были у нас и споры. Хорос, набрав кучу высказываний, решил, что народничество — религиозный социализм. Пантин указывал на мощную атеистическую струю в народничестве. Кажется, сошлись на светском варианте «религиозного сознания». Книгу обсуждали в Институте истории СССР (а не в ИМРД), много спорили, но в целом одобрили. Очень сказывался в обсуждении почти полный отрыв от проблематики всеобщей истории — это были отдаленные плоды «работы» Трапезникова по «разделу» Института истории АН СССР.

Написали мы с Игорем Пантиним книгу «Драма российских реформ и революций», привели в систему свои знания по российской истории. В эту книгу я включил в виде отдельной главы свою статью «Ленин и Каутский» — почти 40 лет пришлось ждать до завершения новоявленного цикла статей, запланированных когда-то с Юрием Буртиным! Когда я писал уже в Институте сравнительной политологии книгу «Политика переходного периода. Опыт Ленина» (М., 2003), Роберт Евзеров подал интересную идею: снова дать вкратце Каутского, но «уравновесить» выпады последнего против Ленина письмами Розы Люксембург о России. Оба фиксировали одни и те же изъяны «военного коммунизма», но с противоположными целями. Каутский стремился «отвратить» от русского пути западную социал-демократию, Люксембург призывала ее выполнить свой интернациональный долг, сбросить капитализм, помочь и Советской России. Германские офицеры, убившие Розу, знали, в кого стрелять...

Надо признать, что с директором ИМРД Тимофеевым у меня сложились неплохие, но странные отношения. Он охотно принимал мои задумки, к примеру — издать сочинения публициста-мыслителя Юрия Буртина, начать серьезную разработку теории конвергенции Сахарова. Тимур Тимофеевич предлагал тут же написать проспект, составить список работ Буртина и прочее в том же духе. Но дальше этого дело не двигалось. Впрочем, уже уходя из Института, он включил в престижный сборник написанную мною биографию Сахарова. Свою тему «циклическость революций» я ему никогда не предлагал. Дело в том, что у ИМРД была своя «коронная тема»: кризис современного капитализма (хотя

уже не на уровне акад. Варги 20-х годов¹¹). Вот на эту тему, а она отвечала, как нетрудно понять, *программным заявлениям партии*, у нас проводились бесконечные заседания, разбирались на полном «серьезе» виды и подвиды кризисов, лучшие наши теоретики ездили в Рурский бассейн. Но хотя все знали, что на Западе идет структурная перестройка, иногда сопровождаемая кризисными явлениями, говорили снова об «общем кризисе капитализма». Я на этих заседаниях молчал, а взял слово только однажды... на партийном собрании. Нам тогда прислали одобренный ЦК КПСС (!) Проект программы партии, кажется для XXVII съезда. Там — цитирую по памяти, но помню хорошо — говорилось, что капитализм прошел зенит своего развития и движется к гибели. Я вышел на трибуну и предложил убрать это положение, как не соответствующее реальности. Немедленно вскочил сидящий в Президиуме Тимофеев и объявил мое выступление чуть ли не антипартийным. А его заместитель тут же предложил не включать его в список наших предложений съезду. ВСЕ за это проголосовали! *Никто не подержал правду в ее борьбе против лжи... Мертвой партией была КПСС!*

Александр Яковлев в своей книге «Сумерки», концепцию которой я не разделяю, но фактический материал ценю, рассказал, что творилось на том самом съезде, куда *не послали* мое предложение. Оказывается, в программных документах царило *двоемыслие!* Звучали «стандартные слова об империализме, о том, что содержание эпохи — это переход от капитализма к социализму и коммунизму, об общем кризисе капитализма». Все эти «тупости» (!) произносились для того, чтобы «замаскировать» совсем иную констатацию: «Трудно, в известной степени противоречиво, как бы на ощупь, складывается противоречивый, но взаимосвязанный, во многом целостный мир» (М., 2003. С. 435).

Но неужели нельзя было без «маскировки» (от кого?), без всяких ритуальных формул произвести давно назревшую **ревизию идеологии партии** да и **обновить партию** вместо поездок по заграницам (это полезно, но надо знать меру) и мечтаний о всесильном «президентстве», явно губительном для СССР? Все произошедшее затем известно: СССР распался, цементирующая его сила — КПСС — распущена, Россия до сих пор не завершила «первоначального капиталистического накопления» со всеми его прелестями. Если удастся — обо всем этом надо будет поговорить серьезно и особо.

Прощаясь с периодом 1960—1980 гг., я сделаю некоторые обобщения. У меня нет полных данных о состоянии всех наших общественных наук, я работал на некоторых их участках. Но все же я должен отметить парадоксальнейший факт: науке мешали развивать *самые актуальные для страны, да и мира в целом задачи и проблемы.*

В 1966 году я поставил в «Новом мире» проблему «цены революции», то же сделали Я.С. Драбкин и А.А. Галкин в 1966 г. в секторе М.Я. Гефтера. Но Главлит категорически запретил «Новому миру» подниматься выше XVIII столетия, а сектор методологии М.Я. Гефтера ликвидировали вообще. А ведь именно проблема «цены революции» приобрела огромную актуальность для второй половины XX века в связи с появлением оружия массового уничтожения. Возникла совершенно новая **качественная** ситуация в мире, о которой сразу же сказали ведущие физики Запада, а у нас — единственный (!) среди членов Академии наук СССР, создатель термоядерной бомбы А.Д. Сахаров. Он-то и направил Советскому правительству свои «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

Он предостерег, что отныне мир капитализма и социализма не должны стремиться уничтожить друг друга, а только «длительно развиваться, черпая друг у друга положительные черты (и фактически сближаясь в существенных отношениях)». «На любом другом пути, кроме все углубляющегося существования и сотрудничества двух систем и двух сфер, со сглаживанием противоречий и взаимной помощью... на любом другом пути человечество ожидает гибель»¹².

Но «Размышления...» великого ума не тронули ни в малейшей степени Брежнев и его приспешников, они были скрыты и от народа, но зато тиражом в 18 млн их издали на Западе — там, а не здесь нужна была истина; у нас ее встречала мощнейшая сеть глушителей, скрывая правду от народа. Предложенную А.Д. Сахаровым теорию конвергенции двух систем разрабатывали одиночки — мыслитель-публицист Юрий Буртин и Вадим Белоцерковский в прессе, все мои попытки включить тему в планы ИМРД окончились крахом — ИМРД был нацелен на разработку сроков «кризиса и краха капитализма». Кстати, «футуролог» наш Г.Х. Шахназаров относил этот «крах» к 2017 году!¹³ А вот Сахарова отправили в ссылку в Горький — власть имущих пугали его контакты с Западом.

В 1960—1980 годах усилилась борьба народов Юго-Востока за свое освобождение, но именно попытки Отдела Келле поставить на научную основу изучение докапиталистических обществ Марксом были отброшены прочь, вместе с ликвидацией и Отдела, и самого ученого — его изгнали из Института философии АН СССР. Между тем востоковедам требовались наши разработки, а пример с Камбоджей или некоторые рассуждения Мао о «бумажном тигре» и «цене революций» в ядерный век говорили о том, с какими дикими и извращениями принималось здесь порой коммунистическое учение.

Уже в 1989 году в книге «Завещание Ленина» я привел его замечательные наброски по теме: возможен ли у нас «Термидор»? Откат революции назад? — эту ситуацию мы и переживаем ныне.

«1. Общеполитическое значение этого вопроса = вопрос о *крестьянской* (мелкобуржуазной) контрреволюции.

Такая контрреволюция стоит уже против нас.

2. Теоретический экскурс.

(α) буржуазная революция или социалистическая революция?

Решит борьба...».

И еще: «Политическая сторона:

Скинет мелкобуржуазная стихия...

“Образец” французская революция».

И еще: «Стихия».

C'est le mot (вот слово. — *Е.П.*)

1794 versus 1921 (1794 против 1921. — *Е.П.*)».

И еще: “Термидор”? Трезво может быть, да? Будет? Увидим. Не хвались едучи на рать» (ПСС. Т. 43. С. 371, 386, 385, 403).

Но я не видел, чтобы кто-то всерьез принял к разработке эти важнейшие наметки. Нам это было запрещено!

Кого Бог хочет погубить — того он лишает разума. Разум — это способность осознать окружающую тебя действительность и действовать адекватно ее пониманию. Но вот как раз разума «вожди» КПСС были лишены. Крах «руководимой» ими страны был неизбежен...

Некоторые результаты «реформ» Ельцина

Впрочем, последовавшие за ликвидацией КПСС и распадом СССР «реформы» Ельцина—Гайдара—Чубайса не принесли народам России особых радостей. Это тема большого будущего разговора, сошлемся пока на ряд авторитетных свидетельств.

Так, известный американский историк Стивен Коэн, проживший в СССР и России пару десятков лет, написал не так давно в книге «Провал крестового похода США и трагедия посткоммунистической России» о неблагоприятной роли американского правительства и американских советчиков, которые потчевали своими рецептами, далекими от понимания реальной России, ельцинское руководство (и как выяснилось недавно, потчевали отнюдь не бескорыстно для себя). «Мне неприятно и даже стыдно, — пишет Коэн, — что много американцев — чиновников, журналистов, ученых — в течение почти десяти лет называли “реформой” процесс разграбления, обнищания, модернизации

России. Мало того, они и сейчас продолжают настаивать на продолжении этих реформ»¹⁴.

Свои выводы Коэн подкрепляет авторитетным свидетельством А.И. Солженицына от 2000 года, немало поездившего по России: «В результате ельцинской эпохи разгромлены или разворованы все основные направления нашей государственной, народнохозяйственной, культурной и нравственной жизни. Мы буквально живем среди руин, но притворяемся, что у нас нормальная жизнь... Мы слышали, что у нас проводятся великие реформы. Это были лжереформы, потому что они оставили в нищете больше половины населения страны... Продолжим реформы. Как это понять? Продолжим разграбление России до конца? Не дай Бог те реформы продолжить до конца»¹⁵.

К сожалению, Президент Путин, пришедший на смену Ельцину, не полностью порвал с традициями своего предшественника и его «советчиками», он лишь «упорядочивает» прежнюю систему, скрывавшую экономику страны. Несмотря на декларации Путина, пропасть между нищетой и богатством в Российской Федерации по-прежнему углубляется. Неуклюжее поведение властей в деле Ходорковского привело к отливу капитала из России, что приостановило вроде бы в июле—октябре 2004 года рост экономики.

И наконец, сошлемся на изданную Институтом сравнительной политологии РАН в 2004 году книгу: «Теория и практика современной политики» — над ней работали В.В. Люблинский, Л.Б. Москвин, Г.Г. Пирогов, С.В. Пронин, А.Ф. Храпцов, Р.И. Цвылев, это наши доктор и кандидаты экономических, исторических, политологических наук. Фиксируя определенные реальные шаги, обозначившиеся в последние годы в социальной сфере, авторы не считают, однако, что можно говорить о «решительном переломе ситуации». До сих пор не разработана «концепция долговременной социальной политики», без чего нельзя будет решать проблемы, поставленные в мае 2003 года в Послании Президента России Федеральному Собранию. Мало радуют признаки **переосмысления** со стороны государственных институтов «модели социального распределения доходов». Колоссальные средства все еще находятся вне сферы «фундаментальных точек роста» и модернизации страны — в спекулятивной сфере теневого и скрытого внешнеэкономического оборота, решительное **ограничение** которых жизненно необходимо и может способствовать решению финансовых проблем российской промышленности, а также росту благосостояния населения. Безусловно, найдет поддержку народа серьезная переоценка проведенной приватизации 1990-х годов в «плане соответствия принципам законности и моральной чистоты», а также усиления ин-

ституциональных позиций государства в экономике и финансовой сфере.

«**Последний** вывод авторов» заключается в том, что слабость социальной политики в России последнего десятилетия имела своим следствием подрыв демографических и социокультурных основ российской цивилизации, о чем свидетельствуют возросшая смертность населения и усиленная эмиграция квалифицированной рабочей силы.

Российские реформы дали следующие негативные результаты:

— эффективный рыночный механизм и рыночная инфраструктура фактически не сформировались;

— страна по-прежнему находится в фазе развития, когда значительно подорван промышленный, технологический и научный потенциал;

— инвестиционный процесс носит крайне вялый и фрагментарный характер и не соответствует потребностям модернизации;

— страна утратила ряд важных позиций на мировом рынке;

— на порядок усилилась ресурсно-сырьевая ориентация российской экономики;

— программа приватизации оказалась несостоятельной в социальном и экономическом аспектах и привела к криминализации экономики;

— страна оказалась в ситуации зависимости — финансовой, технологической, товарной, продовольственной — от внешнего мира, и это угрожает ее безопасности»¹⁶.

Делая свои выводы — и это особо важно подчеркнуть, — авторы предлагают «возможные» — с их точки зрения — и, на наш взгляд, вполне реальные «пути социального развития России»¹⁷.

Но кому-то такая направленность работ Института сравнительной политологии РАН, обращенная не только к собственному, но и мировому опыту, представилась и неважной, и ненужной и в 2004 году была предпринята попытка ликвидации Института (пока не удавшаяся). Хочется верить, что она не повторится в ходе объявленной реформы всей Российской Академии наук, да и вообще всей нашей науки. Давно пора проводить эту реформу постепенно и осмотрительно, но радикально, дабы использовать весь наш громадный интеллектуальный капитал не для подпитки зарубежной науки, а для блага собственного народа и государства.

* * *

Главу «На историческом фронте и снова на философском фронте» я написал летом 2004 года на даче своего зятя, историка Козлова Владимира Александровича. И под утро в понедельник 23 августа приехал мне

тревожный сон. Мы едем с Александром Ивановичем Володиным в вагоне поезда, и вдруг он потерялся. Я бросился искать его по вагону, на станции, возле которой остановился поезд. Но нигде его не было... Прислушалась жена, спросила: «Чего ты мечтаешь?». Я рассказал ей про сон. «Жень, а ведь Саша, наверно, умер. Давай поедem с Володей в Москву» (зять рано уезжал на работу). В нашей квартире, когда мы приехали домой, звонил телефон. Я услышал голос Лены — жены Саши: «Ну, слава Богу, наконец-то до вас дозвонилась. Сегодня хороним Сашу».

Само это происшествие с «тревожным сном» я рационально объяснить не могу. Мне кажется теперь, что между душами близких людей тянутся какие-то невидимые нам нити, и, когда они обрываются на одном конце, реагирует другой...

Был Саша ученым большого таланта и человеком необыкновенного мужества. Тяжело больной, он долгие годы продолжал работать. Перед годовщиной известной Философской дискуссии 1947 года он устроил Круглый стол на тему «Исживая ждановщину», по материалам Круглого стола и самой Дискуссии, а я написал статью в юбилейный номер журнала «Вопросы философии» (журнал на этой дискуссии и был создан). Статья моя главному редактору журнала Владиславу Александровичу Лекторскому понравилась, он ее опубликовал («Вопросы философии», 1997, № 7. 50 лет). Ниже я воспроизвожу текст этой статьи с небольшой правкой, посвящая ее памяти друга моей жизни — ближе его у меня никого не было...

Философская дискуссия

16—25 июня 1947 года

*(Куда Жданов и его подручные вели
нашу философию)*

Нам, троим аспирантам, боровшимся со «щипановщиной», в общем-то повезло — нас выбросили с **философского фронта**, этой «обители невежества», в большую жизнь, в которой мы не затерялись и даже кое-что дали нашему читающему обществу. А вот сейчас я поставил перед собой задачу: **изгнать ждановщину из ее последнего оплота — философии**. В литературе, музыке она давно мертва, а вот в философии ТОВ. ЖДАНОВУ все еще продолжают **приписывать творческие доклады и позитивную роль**. Развею этот миф. Кому не захочется вползть в прошлые философские дрязги или кто не силен в философии вообще, просто посоветуем перевернуть этот раздел и перейти к небольшому поэтическому эссе, которым я кончаю книгу, — оно для широкого читателя.

Выступая в 1989 г. за «Круглым столом» в АОН при ЦК КПСС на тему «Изживая ждановщину», участник дискуссии 16—25 июня 1947 г. по книге Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии» З.А. Каменский посетовал, что до сих пор не произведен анализ ее, а «ведь это был единственный в нашей истории всесоюзный съезд работников философии»¹⁸. Единственный, но совсем не плодотворный, добавим мы. В советской философской науке **возобладал вульгарнейший «классовый изоляционизм», толкающий нас к разрыву и конфронтации с мировой философской культурой**. Сама дискуссия оказалась звеном следовавших одно за другим избиений творческой и интеллигенции. Чтобы доказать это, мне потребовалось более года работы, но я не жалею об этом, я — историк по специальности, считаю этот груз *прощанием с моим философским прошлым, с философией*, которую я все же познал, уже покинув вместе с друзьями порог Философского факультета МГУ.. Впрочем, настоящее философское образование не мешает историческим исследованиям, таково мое глубокое убеждение...

О двух философских дискуссиях 1947 года в конце 90-х годов появилась интересная литература, она показывает, опираясь на архивные документы, *закулисную* борьбу в связи с дискуссиями в партийно-идеологической верхушке ЦК ВКП(б), включая самого И.В. Сталина. Но эти публикации не дают представления о ходе самого главного побоища 1947 года — июньской дискуссии 1947 года, которой руководил А.А. Жданов; содержат они порой апологетическую оценку этой дискуссии, которую я постараюсь оспорить с аргументами в руках. Другими словами, изгнать «ждановщину» из ее последнего прибежища — даром, что ли, мне пришлось заниматься *философским самообразованием, очищаясь от тех вульгарных представлений о философии, которые нам навязывали в МГУ наши «учителя».*

«Покушение» Г.Ф. Александрова на философскую монополию И.В. Сталина

Сама книга Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии» (М., Л., 1946) была переработанным им лекционным курсом 30-х годов, носившим заглавие «Очерк истории новой философии на Западе» (М., 1939). «Очерк...» ни на что особенное не претендовал. Он содержал ряд философско-биографических глав о западных философах — от Френсиса Бэкона до Людвиг Фейербаха.

В своей «Истории западноевропейской философии», вышедшей в 1945 и 1946 годах (второе издание было «дополненным»), автор резко изменил число философско-биографических очерков, поместив их в рамки общих разделов: «Философия древнегреческого общества», «Философия феодального общества» и т. п. Думаю, что на тогдашнем философском «безрыбье»¹⁹ это была в общем-то приемлемая книга, содержащая солидный фактический материал. Особенно удались автору показ *преимущества* философского знания, развитие которого, как он утверждал, не представляло «хаоса», а также *анализ немецкой классической философии.*

Но роковую роль для автора сыграло вообще не содержание книги, а то, что она была представлена на Сталинскую премию ученым советом Института философии АН СССР, она же была восхвалена в рецензиях М.П. Баскина и П.Е. Вышинского, а Министерство высшего образования СССР поспешило рекомендовать ее в качестве учебника для университетов и гуманитарных факультетов вузов. Да и тираж второе издание 1946 года имело приличный — 50 000 экземпляров!

Вся эта хвалебная кампания, обусловленная рядом достоинств книги и высоким постом автора в партийно-идеологической иерархии (заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)), была фактически прекращена к концу 1946 года письмом проф. З.Я. Белецкого Сталину от 18 ноября. В письме этого неусыпного блюстителя «чистоты марксизма» среди прочего сообщалось, что только что вышедшее пособие Александра представляет собой «беспардонное академическое изложение», ревизующее решение ЦК ВКП(б) от 1944 г. по третьему тому «Истории философии», но что, несмотря на это, оно расхвалено на всех перекрестках, отмечено Сталинской премией за 1946 год, а его автор выбран в академики. Его творение, не без умысла добавлял Белецкий, вообще причислено «к классическим работам»²⁰. Позиция Сталина как единственного «четвертого классика марксизма» явно ставилась под угрозу...

Отсюда — две философские дискуссии по книге Г.Ф. Александра: первая, январская 1947 г., которую провел по требованию Секретариата ЦК ВКП(б) Институт философии АН СССР и которая не удовлетворила Сталина своей беззубостью²¹, и вторая, июньская дискуссия 1947 года уже при самом ЦК ВКП(б), руководимая лично А.А. Ждановым, — «дело» проф. Александра явно приняло серьезный оборот.

Обе дискуссии прошли «в свете» сталинских указаний, которые нигде не публиковались и были отнесены Г.С. Батыгиным и И.Ф. Девятко к «области идеологического мифотворчества»²². Но сведения об этих указаниях удалось раздобыть авторам двухтомника «Наше Отечество». Они-то и сообщили общественности о телефонном разговоре между Сталиным и Секретарем ЦК, главным редактором «Правды» Поспеловым, который длился 1 час 15 минут (!). «Сталин отметил в книге Александра прежде всего оторванность от политической борьбы, аполитичность, недостаток боевого политического духа, образцом которого являются ленинские работы по философии». Второе, что не устраивало «вождя», — это неверное, с его точки зрения, освещение немецкой классической философии, особенно философии Гегеля, которую автор оценивал как «консервативную», а Сталин — как «реакционную», вызванную страхом перед Французской революцией и направленную против французских материалистов. И, наконец, третье — это недостаточно сильная, по его мнению, характеристика марксизма как системы взглядов, ниспровергающей всю (!) буржуазную науку, а появление марксизма — как «революции в философии»²³. Как мы увидим, именно вокруг этих пунктов и сосредоточилось большинство речей на дискуссии 1947 года — Поспелов сумел подготовить ее «актив»...

«Разбор» книги Александрова на июньской дискуссии 1947 года

Мы вовсе не собираемся утверждать, что все в книге Г.Ф. Александрова было безупречно. Так, участники дискуссии В.П. Егоршин, П.А. Шария, Б.М. Кедров, А.О. Маковельский и другие справедливо отмечали поспешный характер, недостаточность переработки Александровым первоначального курса своих лекций. Многие находили «диспропорции» в изложении материала и даже пропуски «существенных звеньев». Говорилось, что автор так и не дал четкого понятия **самого предмета «история философии»**, не разрешил «загадки» бурного расцвета древнегреческой философии в первые века ее существования (а кто, собственно говоря, разрешил эту загадку?). Далее, в главе об английской философии XVII и XVIII веков под одной общей скобкой оказались мыслители совершенно различных направлений и эпох: Локк, Толанд, Пристли, Беркли, Юм, Оуэн. В главе о французской философии XVII и XVIII веков отдельных очерков удостоились только Вольтер и Руссо, а такие оригинальные фигуры, как Дидро, Ламетри, Гольбах, Робине и другие, были просто свалены автором «в одну кучу». Не была выявлена линия «дуализма». Но самой плохой выступавшие объявили главу о формировании взглядов Маркса и Энгельса — здесь, очевидно, сказались полученные «с самого верха» инструкции²⁴.

Впрочем, Г.Ф. Александрову были тут же предъявлены и явно непомерные требования. В.П. Чертков, М.Т. Иовчук, Д.И. Чесноков, В.М. Каганов, Л.И. Резников, П.С. Черемных и другие сетовали на то, что автор не осветил в своем учебнике славянскую и в особенности русскую домарксистскую философию, якобы «переходную» к марксистской (автор вообще так не считал, а к «западной философии» славянско-русскую философию не относил, он ее не трогал). Впрочем, Александрову вообще предлагали порвать с «европоцентризмом», взять философию «шире», включая весь Восток, и даже довести «критическое рассмотрение философских направлений до современности» (задача, совершенно непосильная для одного человека). Упрекали Александрова и за то, что он, разоблачая средневековую схоластику и «поповщину», не сделал того же в отношении «эпигонских систем современности» (!), о последних он упомянул лишь вскользь. Марксистский подход к истории философии как науке, подчеркивали Б.М. Кедров, В.И. Светлов, М.М. Розенталь, М.А. Наумова, И.И. Новинский, не получил конкретного воплощения при проработке материала (попытались бы они сами сделать это!) (С. 36, 39—42, 83, 173, 202, 415 и др. Здесь и далее цитируются «Вопросы философии». 1997, № 7.).

Из почти сотни (!) речей²⁵ творческий элемент присутствовал, на мой взгляд, в четырех-пяти. Интересными были соображения Б.М. Кедрова — выводить философские системы из анализа той или иной эпохи, а не раскладывать эти философские системы по национальным полочкам, лишь преломляя их через особенности национальных культур. Тот же оратор предлагал применить диалектический принцип «раздвоения единого и познания противоречивых сторон его» ко всей истории философии, но особенно — к формированию марксизма, где «обе стороны познания (субъект-объект. — *Е.П.*) впервые раскрылись в их диалектической взаимосвязи, причем практика была органически включена в теорию познания в качестве критерия истины» (С. 40—42). О.В. Трахтенберг интересно поставил проблему соотношения исторического и логического в историко-философском исследовании, вводя в качестве критерия весомости «логического» такой существенный элемент, как «проверка временем», — то, что казалось современникам значительным, скажем, та же философия Вольфа, оказалось ничтожным (С. 177, 178). А.О. Маковельский, Л.О. Резников зафиксировали громадное влияние революционных событий на развитие политической и философской мысли в Англии XVII века, хотя почти ничего не сказали вообще о революционных эпохах как «узловых пунктах» в развитии теоретической мысли человечества (С. 212, 418, 419).

М.Б. Митин: «Надо основательно прочистить мозги»

Основной тон всей дискуссии 16—25 июня 1947 года явно старался задать академик Марк Борисович Митин. Он-то и заявил, что «на философском фронте» «надо основательно прочистить мозги» (!), в связи с чем им была произнесена целая лекция о «партийности» как универсальной отмычке к пониманию сущности любой философской системы (С. 120—130). М.В. Эмдин еще до Митина догадался подсчитать, что у Александра из 69 философов «нет указаний на классовые корни» у 48! (С. 7). После выступления Митина сомневаться в порочности обсуждаемого учебника многим уже не приходилось, «развивались» в основном его вульгаризации. В.С. Молодцов предлагал изложение любой философской системы начинать с «социально-политических взглядов» — «это сразу дает представление о том, чего философ хочет добиться при разрешении гносеологических (!) вопросов» (С. 108). В.П. Егоршин объявил «всякий идеализм» разновидностью «поповщины», а про философию христианства говорил, что

она «слишком тоща, обскурантна, даже вонюча (!)... И именно к этому вонючему источнику припадают и Шеллинг, и Кант, и Гегель, и Беркли, и Мах» (С. 335). З.Я. Белецкий уверял, что «перед философией на первом плане стояли не столько интересы знания, сколько политические интересы того или иного класса, государства» (С. 317). Некто Г.Г. Асланян, как и Б.М. Митин, призвал сводить к определенному социальному или политическому «эквиваленту» сами такие понятия, как «идеализм, материализм, метафизика, диалектика, вульгарный материализм, индивидуализм и проч.» (С. 308). В сущности, ту же позицию разделяли И.П. Трайнин, Б.А. Чагин, О.С. Войтинская и др. (С. 138, 199, 388 и др.). М.Д. Каммари полагал, что автор книги затушевывает «коренную противоположность между диалектикой Маркса и Гегеля... между научным пролетарским и буржуазным мировоззрением» (С. 17) — он явно знал «указания Сталина». Г.М. Гак тоже уверял, что Александров не одолел «пороки объективизма» в изложении философских систем» — Гак знал, что «надо» говорить (С. 25). А вот по мнению того же Б.М. Кедрова, автор не показал «все грандиозное здание марксизма «как действительный венец многовекового развития мысли» (С. 39) — это также шло в русле сталинских указаний.

Справедливости ради отметим робкие голоса протеста против примитивных вульгаризаций. Так, С.Л. Рубинштейн пытался провести различие между *самооценками* философов и *объективной ролью* их идей в обществе, а также определять разную меру «классовости» в отражении философами окружающего мира (С. 420—422). Я.А. Мильнер предостерегал как против рассмотрения истории философии в виде некой «филиации идей», так и против сведения философских идей к «непосредственному» отражению бытия (С. 401, 402). К постановке последней проблемы приближался В.Н. Сарабьянов с его ультимативным заявлением: «*Мы истории не знаем!*» (С. 130). То, что из «истории» философские системы зачастую никак прямо не выводятся, хорошо показал М.В. Серебряков на примере Германии конца XVIII — начала XIX века: «...Обычно дается лишь общий очерк положения Германии с указанием на ее экономическую отсталость, политическое убожество, раздробленность и т. д. Разве только этим можно объяснить, почему возникают различные философские разногласия между Кантом, Фихте, Шеллингом и последующими философами? Разве можно только этим объяснить, почему философия Гегеля начинает разлагаться уже очень быстро после его смерти?» (С. 100—104). О том, что философия как форма элитарного сознания имеет *собственную причудливую логику развития*, на Философской дискуссии 1947 года не было сказано *ни единого слова! Принципиально проблему никто не ставил.*

«Сквозным» вопросом во всей дискуссии стало, естественно, рассмотрение сталинской формулы о «немецкой классической философии как аристократической реакции на Французскую революцию и французский материализм», которое в конечном счете свелось к осуждению Гегеля. В.И. Светлов с порога отверг мнение Александрова о том, что Гегель сделал «попытку превратить историю философии в науку» и что немецкая философия благодаря этому стала классической, т. е. лучшей из всех буржуазных систем, одним из теоретических источников марксизма. Светлов доказывал, что философия Гегеля отличалась «религиозным характером» (?), апологией сословно-феодального устройства общества и монархии; этой философии не была чужда «схоластика»; Гегель «только угадал, не больше, в диалектике понятий диалектику вещей», да и это «рациональное зерно» было раздавлено «философской консервативной системой». Не делая никакого различия между ранней «общенациональной» фазой Французской революции и якобинским «терроризмом», Светлов вообще отрицал тот факт, что Гегель сажал в окрестностях Тюбингена некое «дерево свободы», напротив, он писал де о «мерзости приверженцев Робеспьера» (С. 54—61). Была и еще более плоская аргументация, которая вывела из себя даже молчаливо председательствовавшего А.А. Жданова. Когда Б.А. Чагин начал толковать о том, что «в философии Гегеля с самого начала, можно сказать, текла дурная кровь (!) немецкой аристократии, феодализма и теологии. Эта кровь отравила весь организм его философии», то Жданов по поводу всей этой галиматии бросил такую реплику:

Жданов: «Тов. Чагин, Гегель, видимо, больше всех выигрывает в результате этого совещания» (смех).

Чагин: «Мне кажется, что от моего объяснения он проигрывает» (С. 198, 199).

Впрочем, между участниками дискуссии нашлись если и не противники формулы Сталина, то противники рассуждений Светлова. П.А. Шария вроде бы поддержал его, но протестовал против его лозунга «Долой Гегеля!» (С. 168, 169). Ему вторила М.А. Наумова: Светлов просто «выбросил Гегеля в помойную яму» (С. 172). С.В. Морочник доказывал, что «закопать» Гегеля значило бы забыть ленинский тезис о том, что «философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического» (С. 115). Заметим, что в своем выступлении Жданов вообще ушел от сути этого спора, сказав, что его «участники ломаются в открытую дверь. Вопрос о Гегеле давно решен» (С. 268). О формуле Сталина Жданов дипломатично промолчал.

Доклад «тов. Жданова А.А.» на Философской дискуссии июня 1947 года

Центральным пунктом всей дискуссии июня 1947 года стало, несомненно, «Выступление тов. Жданова А.А.». Его так оценили Г. Батыгин и И. Девятко: «...В сочинениях эпохи перестройки и либерализации принято оценивать выступления А.А. Жданова как догматические, поверхностные и обскурантские. Если дистанцироваться (?) от оценок, то *нельзя не признать и точность его формулировок, свободу рассуждения и оперирования материалом*»²⁶. Увы! Если б это было так... Не поняли смысла его доклада авторы.

Интересно уже то, как был «подан» текст речи Жданова редакцией родившегося сразу же после дискуссии журнала «Вопросы философии». Суждения «рядовой» философствующей братии преподносились так: жирным шрифтом были набраны фамилия, инициалы выступавших, затем следовали тексты их речей. Но, дойдя до середины пухлого (501 страница) фолианта, читатель наткнулся на пересекающий всю полосу и набранный аршинными буквами заголовок

«ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. ЖДАНОВА А.А.»

Далее шла преамбула, в которой констатировалось, что дискуссия по книге Александра превратилась «в своего рода всесоюзную конференцию по вопросам состояния научной философской работы». Затем оратор просил извинения за то, что ему, «философскому юнге», придется в отличие от «старого морского философского волка» тов. Баскина, легко бороздящего философские моря и океаны «без навигационных приборов, на глазок, по соображению, как говорят моряки», прибегать к употреблению цитат — дабы не сбиться с «правильного курса» (*смех, аплодисменты*) (С. 256). Вслед за игривой преамбулой полуаршинными буквами обозначались разделы доклада:

I

НЕДОСТАТКИ КНИГИ ТОВ. АЛЕКСАНДРОВА

II

О ПОЛОЖЕНИИ НА ФИЛОСОФСКОМ ФРОНТЕ

Кстати, такое деление материала предложил сам «тов. Сталин», которому выступление было послано на апробацию. Принципиально он подправил лишь одно положение. Там, где у Жданова говорилось о марксизме как «научном мировоззрении пролетариата», Сталин на-

писал «НЕ ТО» и дал такую формулу «Философия стала научным оружием в руках ПРОЛЕТАРСКИХ МАСС»²⁷. Жданов это принял (С. 259). Увы — обе формулировки были неверными. Любая философия есть форма *элитарного сознания*. Дицгены и Бебели рождались в «пролетарских массах» один-два раза в столетие... «Разносчиков» марксистской философии — пропагандистов было порядочно.

Почти сразу за Ждановым выступил П.Ф. Юдин, призванный быть «капитаном» корабля. Но вот что изрек сей ученый муж. Первое. Выступление Жданова сделало предельно ясными почти все вопросы. И второе. Оно осложнило положение выступающих, «так как перестроиться, что называется, в три минуты, не каждому удается» (*смех*). Но коль скоро ясность в проблемы была внесена, философский корабль вообще перестал куда бы то ни было двигаться. Дискуссию свернули, не успевшим выступить предложили приложить тексты своих речей к стенограмме.

Но действительно ли почти все стало ясным после выступления «председательствующего-юнга», единого в двух лицах?

За «Круглым столом» 1989 г. на тему «Изживая ждановщину» З.А. Каменский признал, что речь Жданова произвела на присутствующих «сильное впечатление» своей масштабностью, глобальностью формулировок, «как бы выводящих историко-философские исследования на новый и высокий уровень». Однако это первое впечатление было «поверхностным и растаяло» после публикации и анализа текста речи.

Прежде всего в своем выступлении А.А. Жданов попытался определить сам предмет истории философии, опираясь на «классиков марксизма-ленинизма». Но его «навигационные приборы» просто отказали: никто из «классиков» сей предмет не определял. Жданову пришлось быть самостоятельным, и он обогатил марксизм следующей формулой: научная история философии «является историей зарождения, возникновения и развития научного материалистического мировоззрения и его законов. Поскольку материализм вырос и развивался в борьбе с идеалистическими течениями, история философии есть также история борьбы материализма с идеализмом» (С. 257).

В этом определении, как справедливо подметил за «Круглым столом» 1989 г. З.А. Каменский, было два изъяна (собственно, по этому поводу он обращался к Сталину и Жданову еще во времена дискуссии, но ответа не получил). Во-первых, оно было телеологичным: создание марксизма объявлялось заранее заданной целью исканий всех философов (!), начиная чуть ли не с Платона и Аристотеля, Августина и Фомы, Декарта и Бэкона и т. д., что начисто лишало историков философии конкретно-исторического, культурологического взгляда на предмет

исследования. Во-вторых, было ложным само рассмотрение идеализма «лишь в виде негативного контрагента материализма». Между тем «материализм и идеализм — это формы, в которых человечество проникает в предмет философии, а не некоторые антиподы, различающиеся как господин и мальчик для битья». Установка Жданова особенно негативно «сказалась на изучении идеализма второй половины XIX—XX века, который рассматривался только под модусом разложения, распада сознания, как будто бы все человечество, не воспринявшее марксизм, лишилось ума».

Критиковал З.А. Каменский и положение Жданова о том, что лишь с марксизма философия «впервые стала наукой». Это положение, считал он, равнозначно тому, что истинность по плечу только марксизму. Но если марксизм был наукой, а предшествовавшая философия вела к марксизму, то и домарксистская философия была наукой. А если признать, что домарксистские школы были ненаучными, то столь же ненаучным оказывался марксизм, ибо он из них вырос. Другими словами, Жданов «абсолютизировал момент прерывности, скачка в развитии философии, в ущерб его непрерывности, силе традиции»²⁸. Но Жданов был не так прост, как его изображал оппонент. Говоря о «революции в философии», Жданов подчеркивал, что это был *качественный скачок*, переход от «ненауки» к марксистской науке, что он был подготовлен *количественными накоплениями* в содержании прежних систем, и даже ссылался на известный тезис: «Отрицать не означает просто сказать “нет”» (С. 259, 260). «Побить» аргументы Жданова можно было только одним доводом: признанием марксизма *одной из самых интересных и содержательных систем XIX века*, что было совершенно немыслимо в советские времена. К тому же Жданов категорически отвергал, «будто бы марксизм-ленинизм достиг своего потолка и задача развития нашего учения не является главной задачей» (С. 265).

Добавим теперь к анализу З.А. Каменского, что философские работы Ленина являлись предметом особого почитания Жданова. Их он и противопоставлял «беззубому вегетарианству» и «профессорскому квази-объективизму» Александрова, причем его интересовало *не содержание* ленинских работ, а их *сугубо разностный тон!* «Образцом большевистской борьбы с противниками материализма, — утверждал Жданов, — является книга Ленина «Материализм или эмпириокритицизм», где каждое слово Ленина представляет собой разящий меч, уничтожающий противника» (С. 261)!

Философское мышление по природе своей полемично, отмечает Т.И. Ойзерман²⁹. Но на все есть своя «мера», которую постоянно нарушал марксизм. На первое место в ряду причин этого мы бы поставили

его укорененность в политике, которая переносилась и в сферу философии. Сказывалась и безудержная пламенность боевых натур Маркса и Энгельса. Не способствовали освобождению философии марксизма от неизменной брани как первоначальное ее игнорирование «буржуазными» оппонентами, так и последующая ее травля ими же. Многое объясняет претензия марксизма на исключительную «научность» в философии (хотя принцип относительности любой истины Маркс и Энгельс подчеркивали).

Ученики Маркса на «русской почве» возвели порок марксизма в добродетель. Еще Г.В. Плеханов резкостью своих суждений по адресу «ревизионистов» повергал в смущение Карла Каутского. Но особенно неистовствовал в своих философских писаниях В.И. Ленин, навешивая политические ярлыки даже на явно беспартийных Маха, Авенариуса, вообще не выходящих за рамки естествознания и гносеологии³⁰.

Вот здесь самая пора выйти к чисто прагматической задаче «тов. Жданова А.А.», которую хорошо подметили авторы «Нашего Отечества»: «Все это было... направлено на уничтожение буржуазной общественной мысли вообще и буржуазной философии в частности. Такая линия была, как сказано, своего рода подготовкой к массовой борьбе против «низкопоклонства» перед буржуазной наукой и отрицания необходимости ее обстоятельного изучения и даже простого знакомства с ней...». «Между тем и «старая» классическая философия и, «новая» буржуазная философия в лице, например, неопозитивистов и экзистенциалистов, несла в себе положительный заряд общечеловеческих ценностей, моральных идей и методологических открытий»³¹.

Это верно, но недостаточно. Направлений, несущих позитивное содержание и отнюдь не «буржуазных», было в десяток раз больше — начиная от материалистической в своей основе концепции Зигмунда Фрейда и кончая хотя бы Альбером Камю, раздумывающим о нелегкой судьбе человека в современном мире. Немало ценного содержала и русская идеалистическая философия начала XX века, пережившая свое «второе рождение» после известной «высылки философов» из России в 1922 году.

Но самое главное — в другом. А.А. Жданов и следовавшие за ним участники дискуссии в своей ругани по адресу «растленной империалистической философии» и «поповщины» ушли от *важнейшей уже тогда стоявшей проблемы синтеза* позитивного и рационально-критического содержания самых различных школ и направлений (не исключая и религиозные!) — *синтеза*, адекватного той *критической ситуации*, в которой в глобальных масштабах оказалось *все человечество*³².

Вообще говоря, история общественной мысли является нам немало попыток довольно крупных синтезов. Немецкая социал-демократия знала

на исходе XIX и в начале XX века нечто вроде союза Маркса и Канта; если признать, что Кант в своем «категорическом императиве» всего-навсего формализовал, выразил «по-философски», заповеди Нового Завета, как это доказывает Ю. Бородай³³, то это была попытка сблизить в сфере этики ценности социализма и христианства; попытки сблизить Нагорную проповедь и социализм не прекращались и в 1990-е годы³⁴.

Указанная задача существовала и во времена проведения дискуссии 1947 года. Еще накануне войны с фашизмом персоналист Э. Мунье предпринял попытку «вписать» социализм в христианство, синтезируя концепции феноменологии, экзистенциализма и марксизма, у которого он брал идею «бесклассового общества» и «освобождения труда»³⁵. Впоследствии Эрих Фромм, сравнивая современную цивилизацию с «Вавилонской башней», которая уже начинает рушиться и под развалинами которой «в конце концов погибнет все и вся», выдвинет грандиозную задачу синтеза «Града Божьего» и «Земного града Прогресса», синтеза устремлений позднего Средневековья и достижений постренесансной науки. «Имя этому синтезу Град Бытия»³⁶.

Думаем, что обоснованием принципиальной возможности такого синтеза могла бы стать формула Гёте, которую мы бы назвали **главным философским Заветом Века Разума: «Противоположность крайностей, возникшая в некотором единстве** (мысль о судьбах человека и человечества. — Е.П.), **тем самым создает возможность синтеза».**

Но вернемся к рассматриваемой нами дискуссии. Да, Жданов умел владеть аудиторией — этого у него не отнимешь. Но, повинувшись вектору «мудрой сталинской политики», он вел наш «философский лайнер» в русло **чудовищного изоляционизма!** Вот в этом пункте он, безусловно, достиг вершин своего красноречия, обрушившись на весь «философский фронт». «А где, собственно говоря, этот фронт? Философский фронт совсем не похож на наше представление о фронте... Он скорее напоминает тихую заводь или бивуак где-то далеко от поля сражения. Поле боя еще не захвачено (!), соприкосновения с противником большей частью нет, разведка не ведется, оружие ржавеет, бойцы воюют на свой страх и риск, а командиры либо упиваются прошлыми победами, или спорят, хватит ли сил для наступления, не потребовать ли помощи извне, или на тему, насколько сознание может отставать от бытия, чтобы не показаться чересчур отсталым» (смех) (С. 268).

Как же читали Г. Батыгин и И. Девятко ждановские философские выступления? Они очаровались ждановским словоблудием и вообще не поняли смысла, направленности его речей! Жданов не направлял нашу философию вперед, он загонял ее в **философский тупик**. В критическую для человечества эпоху *стремление к синтезу* идей и усилий во

имя его спасения от катастрофы Сталин и Жданов призывали заметить неким *вселенским избиением*, нацелив на эту задачу советский «философский фронт»! Как можно эту *разрушительную* затею объявить вкладом в развитие философии? Для этого надо быть слепым к *состоянию мира* и абсолютно глухим к *смыслу сталинско-ждановского словоблудия*...

Все эти выступления — от начала до конца — были пропитаны лицемерием. А.А. Жданов бичевал «групповщину» в среде творческих литераторов, композиторов, философов, а она процветала среди его прихлебателей, людей, которых Энгельс, изучая обстановку якобинского терроризма (у нас схожий с ним сталинский терроризм продлился не один год, а десятилетия!), назвал «шайкой прохвостов, обдelyивавших свои делишки при терроре»³⁷. Жданов твердил, что у нас нет никаких объективных причин для отставания тех или иных отраслей нашей культуры, в то время как эти причины уже создали «сталинщина» и «ждановщина»! Он уверял, что партия уже нашла и поставила на службу «социализму» ту особенную форму борьбы нового со старым, «которая называется критикой и самокритикой», в то время когда в земле гнили останки многочисленнейших «врагов народа», «меньшевиствующих идеалистов» в том числе, оказавшихся на дороге «четвертого классика марксизма» и обслуживавших его «гений» апологетов... Когда же мы научимся не верить *демагогам*, а главное, схватывать *суть произносимого ими*?

Они первыми перешли Рубикон

Еще до философской дискуссии 1947 года Жданов сделал известные свои доклады о журналах «Звезда» и «Ленинград», где и поставил вопрос о «воспитании советского патриотизма».

Воспитывать патриотизм у людей, которые вынесли тяготы Великой Отечественной, было незачем. Да, честно говоря, мало кто лицезрел в конце 40-х годов бывших фронтовиков, боровшихся с «низкопоклонством перед иностранщиной», затем с «космополитами». Этим благородным «патриотическим делом» занимались в основном те люди, которые, благодаря своим связям и изворотливости, смогли отсидеться в глубоком тылу, позахватывать все «номенклатурные» кресла, а теперь по приказу «свыше» бросились на «внутреннего прогивника». Некоторые признаки борьбы обозначились уже на Философской дискуссии 1947 года, далеко не все здесь были «подставным и» ораторами или безнадежными глупцами...

Так, в своей речи З.В. Смирнова, отметив «колоссальный размах» развернувшегося у нас изучения русской мысли, тут же стала фиксировать вещи поразительные и странные: «Никому не придет в голову подвергать сомнению оригинальность и самостоятельность француза Гельвеция на том основании, что он исходит из сенсуализма англичанина Локка». В русской же философии «само признание влияния того или иного западного мыслителя на русского почему-то означает выдачу русскому мыслителю свидетельства в несамостоятельности, неоригинальности». В русло изучения «русской философии», продолжала она, все чаще поспешала молодежь — ввиду той легкости, с которой можно было здесь сделать карьеру. Диссертации аспирантов «пеклись» с благословения руководителей по «готовым схемам» — не требовалось ни знания иностранных языков, ни знания зарубежных философов, ни даже любви к русской литературе. Происходила сплошная подгонка живой мысли под один ранжир; эта мысль, столь многообразная, оригинальная (и превосходящая в ряде случаев марксистскую — например, в понимании «сложности исторического прогресса», — добавим мы) начинала выглядеть чрезвычайно скучной, бледной и однообразной. З.В. Смирнова заявляла: скажем твердо нашим молодым товарищам, «желающим работать в этой области, что история философии есть наука, история русской мысли есть также наука, а потому будьте добры обращаться с ней как с наукой» (С. 110—113).

З.В. Смирнову дополнил З.А. Каменский, охарактеризовав уже в целом «порочные методы организации работы в области философии». Оказывается, руководство нашей философией захватили «в сущности лица больше административные, чем ученые». Они издавали без контроля и критики философской общественности бесконечные популярнейшие статьи и брошюры, в то время как серьезные труды и диссертации мариновались годами; из них редакторы и руководители-перестраховщики выбрасывали все оригинальное. Ни о какой «большой философии» говорить не приходилось. З.А. Каменский указывал на необходимость «широко демократизировать нашу научную жизнь» (С. 375, 376, 382). Где все эти реальные проблемы у Жданова?

В унисон Жданову М.Т. Иовчук обрушился на «теорийки», идущие от «буржуазных (?) космополитов»: «И неправильно т. Смирнова говорила здесь о какой-то мертвой схеме преемственности материалистических традиций в России, которую якобы навязывают историкам русской философии» (С. 212). Ему вторил И.Я. Щипанов, который в своей речи «выводил» материализм Радищева из материализма Ломоносова, материализм декабристов из материализма Ломоносова

и Радищева и т. п. (С. 495—498). То, что русская освободительная мысль развивалась в отсталой абсолютистской стране под гнетом цензуры, бесконечных арестов, ссылок, эмиграций, что она — в силу этого — *неоднократно прерывалась* и, обогащенная западной мыслью, вновь возрождалась, данных ораторов не волновало. Главным для них был попасть в тон «руководящих указаний».

А через год-полтора З.А. Каменский и З.В. Смирнова заплатились за свое стремление развивать «критику и самокритику» на «философском фронте». Первый с клеймом «космополит» был изгнан из Института философии АН СССР и стал безработным. Вторая отделалась «выговором» по партийной линии...

Заключительное слово Г.Ф. Александрова

Поразительным, но, в сущности, вполне объяснимым (он помнил судьбу «меньшевистствующих идеалистов») было Заключительное слово автора «Истории западноевропейской философии». Александров не сказал ни единого слова (!) в свою защиту. Он принялся уверять, что многие политически ложные стороны в своей работе, а также многие стороны истинно большевистской революционной направленности историко-философской науки он понял, только «выслушав исключительные по своему значению, по своей революционной устремленности и теоретической глубине замечания Сталина (!?)» на его книгу, «выслушав смелое, творческое освещение вопросов истории философии марксизма, состояния задач философского фронта в речи т. Жданова...». Больше того, Александров принялся ...развивать дальше официальные «установки»: «Мне думается, — сказал он, — что вся (!) история философии, начиная с древнейших времен и кончая серединой XIX в., должна составлять одну и притом небольшую (!) часть истории философии». Главные же ее части мы должны отдать под изложение философии марксизма-ленинизма, втянувшись в «острейший бой против современного буржуазного мракобесия» (С. 289, 294, 295, 299). Он уразумел деструктивные устремления тов. Сталина и Жданова...

Далее Жданов объявил все вопросы исчерпанными, работу законченной и пожелал участникам дискуссии в дальнейшем «всяческих успехов в деле развития и подъема философской науки!» (*Бурные аплодисменты. Все встают. Возгласы:* «Да здравствует товарищ Сталин. Ура!») (С. 300).

«Так это закончилось: на ура, — писал редактор сборника «Изживая “ждановщину”» профессор А.И. Володин. — В летописях советской

философии появилась еще одна «ярчайшая страница» — свидетельство еще одной убедительной победы сталинизма над наукой, власти над мыслью»³⁸.

* * *

Вскоре Сталин и Секретариат ЦК вплотную займутся еще и борьбой с кибернетикой, развитием лысенковской «биологии», «вопросами языкознания», а также «экономическими проблемами социализма» с их лозунгом ликвидации товарных отношений. Как-то вяловато, правда, тянулись после расстрела почти всех членов Еврейского антифашистского комитета дела о «сионистском заговоре» и о «врачах-вредителях». Но один Бог ведает, чем бы кончился весь этот кошмар, если бы не спасительная кончина 5 марта 1953 года «великого зодчего коммунизма». Впереди замаячили разоблачения Н.С. Хрущева на XX и XXII съездах КПСС. Но «философский фронт» — стараниями С.П. Трапезникова, М.Т. Иовчука и иже с ними — еще десятилетиями не мог оправиться от потрясений 1947 года и повернуть к подлинно творческой работе, а весь руководящий состав этого «фронта» прочно досидел в своих «номенклатурных креслах» до конца дней своих, мешая другим философам работать творчески. Хотя, впрочем, сам Г.Ф. Александров был снят с должности заведующего Отделом пропаганды и агитаций ЦК ВКП(б) и тут же... переброшен на руководство Институтом философии АН СССР. Изрядно помятый на дискуссии 1947 года, он чем-то заметным в дальнейшем себя уже не проявлял...

Думаю, что, разобрав Философскую дискуссию июня 1947 года и суть сталинско-ждановской позиции, я внес некую лепту в историко-философскую науку. А теперь мне хочется внести небольшой вклад в нашу гносеологию, поговорив о *позиции, как средстве познания и общения, философии любви*, видимо, есть и такая...

Любовь и культура как одоление смерти?

Поэзия — высший символ человеческого общения

Отмечу такой факт: наши теоретики познания Эвальд Ильенков, Мераб Мамардашвили, ныне покойные, и Юрий Бородай, ныне здравствующий, интересовались поэзией как *высшим синтезом познания и способом общения «через призму красоты»*. Попробуем хотя бы отчасти дополнить их, взяв в свидетели известнейших представителей мира искусства. Особое место у нас займет Борис Леонидович Пастернак, не только великий поэт и переводчик, но и философ по образованию. Это небольшое эссе, затрагивающее *область поэзии*, будет и моим вкладом в *философию любви*, ибо одно неотделимо от другого; ряд поэтических произведений займет в эссе подобающее им место...

Борис Пастернак считал поэзию действенным концентратом прозы. «Поэзия, — утверждал он, — есть проза, проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии». «Чистая проза в ее первородной напряженности и есть поэзия»³⁹. А вот и пример критического самосознания поэта: «Сперва мы пишем просто и плохо, затем сложно и хорошо, и только под конец просто и хорошо»⁴⁰.

«*Первородная напряженность*», обозначенная Б. Пастернаком, есть, по всей видимости, громадная кумулятивность поэзии, а удачная рифмовка и придание стиху ритма сближают поэзию с музыкой. Конечно же, все сказанное о «первородной напряженности» можно отнести ко всей классической литературе вообще. Но, будучи несравненно *эмоциональней* прозы, поэзия воздействует на самые *глубины души* человека, и не менее литературы — на *его ум*. Афористичность поэзии усиливает ее воздействие.

Заметим, что художники слова иногда придавали лирический характер и прозе. «Белым стихом» написано знаменитое «Harzreise» («Путешествие по Гарцу») Генриха Гейне. «Белым стихом» изложил тревожащие его мысли Иван Сергеевич Тургенев в произведении «Старик»:

«Настали темные, тяжелые дни...

Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости... все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, никнет и разрушается. Под гору пошла дорога.

Что же делать? Смотреть? Горевать? Ни себе, ни другим этим ты не поможешь.

На засыпающем покоробленном дереве лист мельче и реже. Но зелень его та же.

Сожмись и уйди в себя, в свои воспоминания, — и там глубоко, глубоко, на дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобой своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской и силой весны»⁴¹.

Увы! Не хватило у Тургенева сил на то, чтобы выполнить свой замысел: сравнить сам тип французского и русского революционеров; писатель умер в 1883 году. Но уже в 1966 году другой, безвестный автор нес в журнал Александра Твардовского «Новый мир» свою статью «Радищев и Робеспьер», кто-то назвал ее лучшим историческим произведением «шестидесятников». А спохватившиеся «инстанции» срочно зачислили статью (после публикации ее в № 6 «Нового мира» за 1966 год) в разряд «инакомыслящих» произведений... Если рукописи не горят, то и живые замыслы не умирают...

Подчеркнем далее, что лучшие лирические стихи рождаются «*по вдохновению*», которое создает максимум сближения поэта с потрясшими его событиями, с природой, с окружающими его людьми, наконец — с самим собой, иными словами, с «истиной жизни». Истоки же творческой интуиции Пастернак видел в таком противоречии поэзии, как ее стремление выйти к «бесконечному», несмотря на «кратковременность собственной жизни». «Метафоризм, — писал он, — естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной громадности его задач. При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенно и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия»⁴².

А теперь приведем в подтверждение слов о содержательности поэзии концовку вести о Христе накануне и после Голгофы, переданную Пастернаком в романе «Доктор Живаго»:

Из «Гефсиманского сада»

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного во мне величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты⁴³.

Пастернак, как мы видим, превращает евангельскую притчу о Воскресении Христовом в некий символ следующих друг за другом поколений, перебрасывая мост от Евангелия к человеческой истории культуры...

Как здесь не вспомнить А. Фета, который писал: «Каемся, во всех широких мировых и психологических вопросах мы охотнее всего обращаемся к поэтам. На что требуется великой подготовительной работы, чтобы только поставить вопрос, тому у поэта в немногих стихах находится наилучшее его объяснение»⁴⁴.

Почему Фрейд недолюбливал поэтов?

В своих лекциях «Введение в психоанализ» Зигмунд Фрейд, поговорив о различных «затмениях» в психическом поведении людей, связанных с такими проявлениями либидо, которые в общепринятом обиходе противоречат «религиозным предпосылкам и социальным условностям», высказывает и свое сугубо отрицательное отношение к поэтам: «Поэты народ безответственный, пользующийся своими привилегиями»⁴⁵. Свой выпад Фрейд не детализирует...

Видимо, можно говорить о некоторой зависти Фрейда к поэтам — они моментально устанавливают душевный контакт со слушателями или читателями, в то время как психоаналитику требуется месяц-другой для установления контакта с пациентом. Далее, поэт пользуется

«привилегией» вторгаться в самые интимные сферы жизни, которые не рекламируются в «пристойном» обществе. Далее, у популярного поэта вместо одного пациента оказывается много поклонников, его привлекательные «вишли» через печать даже переходят к потомкам, о чем бы я так сказал на языке поэзии:

Преемственность

Никто еще не создал
Вечным — миг,
Бездонным — чувство,
Нерушимым — слово.
Но чувства тленные
Родили вечный стих,
А стих рождает чувство
Снова...

И, конечно же, совершенно различны цели поэта и психоаналитика. Поэт стремится увековечить себя, свой стих, вернее, себя через свой стих. Психоаналитик же, вызвав «невроз перенесения» у пациента — его интимную откровенность, — затем использует полученные данные для лечения больного (иногда и просто бежит от него, испугавшись возникшей между ними близости).

К тому же поэтическое воображение не имеет пределов, и писать стихи можно в силу влюбленности, и безо всякой влюбленности, и начитавшись чужих стихов, и уйдя в свои воспоминания. И все это: стихи любовные, о природе, урбанистические, философские, военно-патриотические — все они относятся к «поэтической реальности». И вроде бы по Фрейду — если я его понял правильно — подо всеми подобного рода писаниями можно найти либидо!

Механизм его деятельности Фрейд убедительно раскрыл в заключительном цикле своих лекций, нарисовав «разделение» психической личности на «личное “Я”» любого человека, зажатое между реальностями окружающего его мира, и некое «ОНО», концентрирующее бушующие в человеке страсти и побуждения либидо; наконец, «Сверх-Я» — систему запретов, поставленных в разной степени интенсивности родительским, да и общественным воспитанием (школу не забудем). «Сверх-Я» и дает человеку возможность приспособиться в той или иной мере к жизни, переводя у людей интеллектуального труда на путях «сублимации» энергию «ОНО» в «культурную работу»⁴⁶. Наверно, у Фрейда все это сложнее, но я его лекции вот так понял. И вот с чем у Фрейда я по-

лемизировать буду: зря он писания поэтов к «культуре» вроде бы не относит...

Психоанализ глазами пациента

Допустим, ты встречаешь своего врача — такую вот троицу в одном лице: чуткая душа, милая женщина и превосходный специалист. Что тебе еще надо, чтобы ты помолодел душой и телом и даже подарил ей стихи Рильке и Китса. Что в них плохого? И разве не принадлежит поэзия к культуре, вопреки наветам Фрейда?

Из Рильке (перевод мой. — *Е.П.*)

И н с т р у м е н т

Как душу удержать, чтобы она
К твоей не прикасалась?
Как ей внушить, что свет — не ты одна,
Что в мире есть другие вещи, люди...

Уж лучше бы душа моя
Была в неволе пленена,
Спала в ночной тиши,
Затеряна была в глухой, пустынной дали,
Так, чтоб движения глубин твоей души
Ее не трогали, не достигали...

Но нет, достаточно малейшего толчка
В душе твоей, чтобы моя в ответ дрожала,
Как будто в тот же миг касание смычка
С двух струн тугих одно звучанье сняло...

Скажи, кем создан этот странный инструмент?
И кто берedit струны-души в тот момент?
Откуда прелесть звука?

И еще один мой перевод стихотворения того же Рильке, которого Пастернак считал одним из лучших поэтов Европы XIX века, на весь-ма тревожившую Рильке тему:

О д и н о ч е с т в о

Подобно одиночеству дождям —
Ползет оно с морей навстречу вечерам,
С равнин, открытых стонущим ветрам,
Стирает с неба синь пришедшая беда,
Чтоб тяжкой пеленой упасть на города.

Дождь, дождь и дождь... Всю ночь все те же звуки.
Завесой шорохов скрыт стон любовной муки,
Когда же взор к востоку обратят проулки,
А свет зари начнет в стекле дрожать,
Тела опустошенные теряют вновь друг друга;
Вот только опостылевшим супругам
Дано по-прежнему делить одну кровать...
Тут одиночеству приходит час в моря стекать...

Вряд ли хуже стихов Рильке стихи рано умершего поэта Китса, даю снова свой перевод:

О с т р а х е с м е р т и

Неужто смерть на жизнь похожа, если жизнь вся — сон,
А все блаженства в ней — одни виденья?
И все ж Конца боимся мы. Пугает он.
Хоть сознаем мы мимолетность наслажденья...

Как странно: всем нам, грешным, уготован
Под сводом неба тяжкий и тернистый путь;
Скиталец бедный, что ж ты страхом скован?
Ведь суждено тебе проснуться — не уснуть...

Добрый человек был Китс, людей ободрял. Только вот почему они на благостный Тот Свет не спешат? Почему его бояться? Нет, тут что-то не так...

О значении культуры поговорим немного подробнее.

О недостаточности формулы Иванова—Карякина «Культура как одоление смерти»

Именно заглавие «Культура как одоление смерти» Ю.Ф. Карякин дал введению своей известной книги «Достоевский и канун XXI века» (М., 1989), позаимствовав его из статьи Вяч. Иванова «Категория времени в искусстве и культуре XX века». В аргументацию Вяч. Иванова Ю.Ф. Карякин вдаваться не стал, но мы позволим себе остановиться хотя бы на *главном* обобщении Вяч. Иванова: «В какой-то мере вся человеческая культура до сих пор остается протестом против смерти и разрушения, против увеличения беспорядка, или увеличивающегося единообразия — энтропии. По мере реальности этого грозящего разрушения все более значительными должны стать и усилия, ему противостоящие. В этом и состоит главное объяснение той роли, которая в современной культуре, в частности в искусстве, отведена *проблеме времени*»⁴⁷.

Мысли того же порядка мы нашли у нашего знаменитого философа и поэта Вл. Соловьева в статье «Смысл любви»: «Несмотря на продолжающуюся в человечестве смену поколений, есть уже начатки увековечивания индивидуальности в религии предков — этой основы всякой культуры, в предании — памяти общества, в искусстве, наконец, в исторической науке... Прогресс несомненен и окончательная работа stanovится все яснее и ближе»⁴⁸.

Зная, что Вл. Соловьев был не только философом, но и талантливейшем поэтом, мы поискали аналогичные мысли в книге стихов Вл. Соловьева «Неподвижно лишь солнце любви». В ней он описал две дороги, ведущие к Храму Любви; по одной дороге шел он сам, по другой — его возлюбленная. Увы! Так и не состоялось их обручение в Храме Любви — видимо, испугал поэт свою Катю неосторожными письмами (ты будешь у меня на втором плане, а на первом — философия). Но нас интересует иное: божественно подчеркнуто Соловьевым значение и величие *любви* в ее противостоянии *смерти*:

Смерть и время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь **солнце любви**⁴⁹.

А теперь вот, воздав — вслед за Соловьевым — должное *любви*, скажем о крупнейшем изъяне формулы Иванова-Карякина «Культура как

одоление смерти». В ней не вся истина. Только Любовь, и только она одна, дает человеку Жизнь. Смысл же жизни придает Культура, постоянно наращиваемая человечеством. Тут и есть искомое нами единство: *«Любовь и культура как одоление смерти»*.

Могут быть у поэзии, занимающей заметное место в культуре, и свои частные предназначения...

Поэзия как боевое оружие

Как-то в самом начале 1990-х годов зашел я в Научный зал Исторической библиотеки. Вижу: библиотекарь, та, которая на выдаче книг работает, с бледным лицом сидит, «Московский комсомолец» в руках держит. «Что Вас там поразило?» — спрашиваю. Оказывается, в «МК», который она рассматривала, на первой полосе памятник Дзержинскому был отснят (вскоре снесенный). За памятником виден на фото верхний этаж здания КГБ, тот, что с часами, стрелки часов без 5 минут XII показывают, скоро, мол, кончится ваше времечко... Попросил я сотрудницу библиотеки дать мне «МК» для более тщательного изучения и нашел там... стихи по профилю Исторички. Рвется к душам и умам читателей «МК» поэт Вл. Корнилов:

Петр повелитель,
Зажавший Русь,
Был сифилитик,
Алкаш и трус...
Как пес от зуду,
Вертляв, горласт,
На показуху
Был царь горазд...
Россия — Ева,
А сам Адам;
Сказал: «На дело
Ребро отдам!»

Господен фокус,
Но вот дела:
Петра зараза,
Как мор, легла.

Звучало денно
Аж до утра
Слово и дело
Царя Петра...

Петрово буйство
Гудело весь
Петрово-пусто-
Порожный рейс.
1964

О том, что имя и дела Петра еще с его собственных времен противоположные толки вызывали (народ его даже Антихристом прозвал), всем известно. Но подобного оскорбления личности Петра Великого ни одна уважающая свою репутацию газета допускать бы не стала — только на Святой Руси, культуру которой академик Лихачев упорно к Западу подтягивал, такая пакость возможна.

Впрочем, разве не смывают корниловскую грязь с фигуры Петра несравненные пушкинские строки:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит...

Но нет, не стану дальше стихами великого национального поэта прикрываться, постараюсь корниловскую некрасивость своим собственным красивым стихом пришибить — стих мой о том же XVIII в. в России.

Уцелеет ли Архангельское ?

Я состязаться с Пушкиным не буду,
Не жди стихов бессмертных от меня,
Покуда жив — я просто не забуду
Случайно мне дарованного дня.

Голубым было небо, ты была в голубом,
Было ласковым солнце, мы плутали потом,
А потом я увидел не Версаль, Сан-Суси,
А Версаль, Сан-Суси на исконной Руси.

Князь Юсупов в тот день нас с тобой принимал,
Мы попали в овальный сияющий зал,
Осмотрели альков и салон неземной,
Там была Красота и была ты со мной.

Ты сказала: «В окно посмотри, в эту даль»!
Бабье лето там плыло: Любовь и Печаль,
В синей дымке тонули густые леса,
Чуть поближе шли парки — все чудо-краса.

Князь с небесной земную смешал красоту,
Классицизма канон и берез простоту,
Зелень с бронзой смешал, солнце залил в паркет,
А потом поднялись мы к нему в кабинет...

Тишина, полумрак обступили нас тут,
Знал князь: мудрости нужен покой и уют;
Корешки ветхих книг, мой «осьмнадцатый век»;
Вера в разум... и Кровь, что пролил человек...

«Столетье безумно и мудро», —
Радищев свой век называл.
Век двадцать первый мудрее не стал.
Грозит терроризм, ядерный держим запас.
А что впереди? Кто нас от глупости спас?

Хватают людей, взрывают то там, то тут.
Ракеты-шпаги по-прежнему ждут:
Готовы сжечь, смести все они города.
Быть миру красы? Прахом стать? Уйти навсегда?
Ответа нет. Ищите его, люди!

Мое страшное поэтическое состязание

От моего «рифмоплетства», как Маша мои собственные стихи имену-ет — и по заслугам, — перейду снова к моим переводам. Почему я став-лю свои переводы выше собственных моих стихов? Да потому, что их оригиналы принадлежат к «классике» и она заставляет и меня к себе «подтягиваться». К тому же я внес в свои переводы ряд новшеств: пере-водить только то, что на душу тебе ложится, стремиться воспроизво-

дить не только *образность*, но и *страсть* оригиналов, их *обаяние* и не *грешить буквализмом*...

В те давние годы, которые я ныне описываю, большой тогда мой приятель Юрий Федорович Карякин нипочем во мне поэта не признавал, и я, разозлившись, однажды предложил ему пари: пусть его знакомая приятельница, редактор «Литиздата», сравнит и оценит два перевода одного из лучших у Гейне стихотворения о любви — «Сфинкс» из Вступления к «Книге песен». Один — блоковский, другой — мой... Полное собрание сочинений Гейне я вывез еще из Германии, а что касается именно этого стиха — то это целая философия любви со всеми ее взлетами и страшными коллизиями...

Почти неделю я по леску ходил, что вблизи улицы Новаторов (мы с Машей и нашей дочкой Мариной там тогда жили), Гейне переводил. Итак, переводы: просто перевод № 1 и перевод № 2.

Перевод № 1

Я в старом сказочном лесу!
Как пахнет липовым цветом!
Чарует месяц душу мне
Каким-то странным светом.

Иду, иду, и с вышины
Ко мне несется пеньё.
То соловей поет любовь,
Поет любви мученье.

Любовь, мучение любви,
В той песне смех и слезы,
И радость печальна, и скорбь светла,
Проснулись забытые грезы.

Иду, иду — широкий луг
Открылся предо мною,
И замок высится на нем
Огромною стеною.

Закрыты окна, и везде
Могильное молчанье;
Так тихо, как будто вселилась смерть
В заброшенное зданье.

И у ворот улегся сфинкс,
Смесь вожденья и гнева,
И тело и лапы как у льва,
Лицом и грудью дева.

Прекрасный образ! Пламенел
Безумием взор бесцветный;
Манил извив застывших губ
Улыбкой едва заметной.

Пел соловей — и у меня
В борьбе не стало силы;
И я безвозвратно погиб в тот миг,
Целуя образ милый.

Холодный мрамор стал живым,
Проникся стоном камень, —
Он с жадной алчностью впивал
Моих лобзаний пламень.

Он чуть не выпил душу мне, —
Насытись до предела,
Меня он обнял, и когти льва
Вонзились в бедное тело.

Блаженная пытка и сладкая боль,
Та боль, как и страсть, беспредельна!
Пока в поцелуях блаженствует рот,
Те когти ранят смертельно.

Пел соловей: «Прекрасный сфинкс!
Любовь! Любовь! За что ты
Мешаешь с пыткой огневой
Всегда свои щедроты?»

О, разреши, прекрасный сфинкс,
Мне тайну загадки этой,
Я думал много тысяч лет
И не нашел ответа».

Перевод № 2

Забрел я снова в сказочный лес,
Дурман от цветущей липы!
Чарует душу призрачный блеск —
Все лунным сияньем облито.

Я дальше иду, вперед и вперед —
Знакомые слышатся звуки,
В листве надо мной соловей поет,
Песнь любви, песнь любовной муки.

О муках любви та песнь соловья,
И смех в его трелях, и слезы,
Ликует печально, смеется скорбя,
Встают позабытые грезы.

Я дальше иду, вот кончился лес,
И вдруг предо мною прямо
Вознес свои башни до самых небес
Громадный старинный замок.

Закрыты все ставни; безмолвной тоской
Полна та обитель печали,
Как будто бы смерть или вечный покой
За ветхой стеной обитали.

А в сфинксе, возлегшем у самого рва,
Сумели загадочно слиться
Нежнейшие — женская грудь, голова
И тело разгневанной львицы.

Творение-сказка! В ярости бел
Застыл ее взор-вожделень,
Извив ее сомкнутых губ мне хотел
Поведать само наслажденье.

Так сладостно пел соловей-озорник,
Что выдержать был я не в силах,
Я к лику тому в поцелуе приник —
И это меня сгубило.

Безжизненный мрамор внезапно ожил,
Стонать стал жалобно камень,
Давясь, задыхаясь, пил он и пил
Моих поцелуев пламень.

Дыханье мое чуть до дна не испив,
Сгорая от яростной похоти,
Объяття раскрыла мне женщина-сфинкс,
Вонзив в меня львиные когти.

Чудесная пытка, сладчайшая боль —
Та пытка — само совершенство,
На ранах смертельных я чувствую соль,
Уста мне сковало блаженство.

И пел соловей: «О, сфинкс красоты!
Что значит любовь-загадка?
Зачем, для чего людям даруешь ты
Отраву горечи сладкой?»

О сфинкс красоты! Жду ответа,
Где в таинствах мира просвет?
Я бьюсь над загадкой над этой
Не первую тысячу лет...»

Судья наш, литературовед, выбрала, к великой досаде моего приятеля, как более образный и страстный перевод № 2, мой — а не блоковский, да и рифмую я лучше. А ваше мнение, читатель?

О переводе непереводаемых стихов

А теперь подробнее о переводах поговорим, важнейшую функцию они на земле выполняют, знакомят одни народы с духовными богатствами других, строят **мировую культуру**, создавая **связь времен**. Но как часто рвут нити культуры переводчики-поэты, создавая переводы **негодного качества**! Почему-то особенно это относится к Рильке, переводить которого бросилась стая посредственностей. Это и дало Пастернаку право утверждать: «Рильке переводить у нас не умеют». Подтвердим это мнение хотя бы двумя образцами переводов, исковеркавших оригинал (мои переводы этих стихов см. выше).

Вот как переводит С. Петров стихотворение Рильке «Одиночество»:

О д и н о ч е с т в о

Да, одиночество как дождь. И в горе
Навстречу вечерам идет из моря:
С долиной распростиась на косогоре,
Уходит в небо, где живет всегда.
И лишь оттуда льется в города
Как некая дождливая морока.

Измокли переулки, в утро выйдя,
Когда тела лежащие беспроко
К стене отодвигаются в обиде,
Когда они, друг друга ненавидя,
В постели вместе полегли навеки,
Тогда одиночество течет как реки⁵⁰.

Во всем этом мало чего осталось от Рильке, стих его искажен.

А вот как уходит от простого оригинала Вячеслав Куприянов, взявшись под заглавием «Напев любви» переводить стих Рильке «Инструмент»:

Как сдержать мне душу, чтоб она
Не трогала твоей? Каким путем
Твои преодолеть глубины?
Где властвует такая тишина;
Что даст забыться хоть на миг единый
От притяженья в голосе твоём,
От устремленья течь твоей долиной?
Но нас двоих пронзающий поток
Несет нас вместе, так порой смычок
Рождает в струнах двух единый звон.
С какою далью вместе мы поем?
Что заставляет нас звенеть вдвоем?
О сладкий стон!⁵¹

Настроение сохранилось, но как-то «слиплись» образы Рильке...

«Переводы либо не имеют никакого смысла, — говорил Б. Пастернак в 1943 году («Из заметок переводчика»). — Соответствие текста — связь слишком слабая, чтобы обеспечить переводу целесообразность.

Такие переводы не оправдывают обещания. Их бледные пересказы не дают понятия о главной стороне предмета, которую они берутся отражать, — о его силе... Перевод должен быть плодом подлинника и его историческим следствием... Мы уже сказали, что переводы *неосуществимы*, потому что они *в идеале* должны быть *художественными произведениями* и при общности текста становиться *вровень с оригиналом* своей *собственной неповторимостью*⁵².

К сожалению, им самим сформулированные принципы Б.Л. Пастернак был не в состоянии проводить в условиях сталинской деспотии. В конце 1938 года после двух страшных лет «ежовщины», которая уничтожила близкого поэту Н.И. Бухарина, когда О. Фрайденберг, друг Пастернака, сообщила ему об аресте сына Саши, а он ничем не мог помочь ей, когда развернулась дискуссия о «формализме» в литературе и сам Пастернак был под обстрелом, решил он опубликовать на страницах «Литературной газеты» 31 декабря 1938 года часть стиха из «Эндимиона» Джона Китса. Впрочем, может быть, это была вовсе не «самоцензура», а редакция газеты стих «обрубила» — этого мы не знаем.

Б. Пастернак

Из «Эндимиона» Джона Китса

Прекрасное владеет навсегда.
К нему не остываешь. Никогда
Не впасть ему в ничтожество. Все снова
Нас будет влечь к испытанному крову
С готовым ложем и здоровым сном,
И мы цветы в гирлянды вьем,
Чтоб привязаться к чернозему
Наперекор томленью и надлому
Высоких душ; унынью вопреки
И дикости, загнавшей в тупики
Исканья наши. Да, назло пороку
Луч красоты в одно мгновенье ока
Сгоняет с сердца тучи. Таковы
Луна и солнце, шелесты листвы,
Гурты овечьи, таковы нарциссы
В густой траве, так под прикрытьем мыса
Ручьи защиты ищут от жары,
И точно так рассыпаны дары
Лесной гвоздики на лесной поляне.

И таковы великие преданья
О славных мертвых первых дней земли,
Что мы детьми слышали иль прочли...⁵³

Пастернак здесь ставит отточие, «самоцензура» или цензура не позволили ему «сопережить» Китса до конца.

Борис Пастернак «обрубает» самые дорогие ему строки

Я попытаюсь дать *перевод целиком*, хотя сознаю: стиль у меня непохож на стиль Пастернака. В моей «Антологии» стихотворение Китса названо «О прекрасном», я сохраняю это название. И так...

Дж. Китс

О п р е к р а с н о м

Прекрасное на радость нам дано,
Чредой идут года — нам все милей оно,
Пред ним бессильно время — ведь для нас
Прибежище оно в недобрый жизни час,
Наш сладкий сон, здоровье и покой,
И, день встречая, трепетной рукой
Венок сплетем мы из своих надежд,
Чтобы к земле, где сонм бессовестных, невежд,
Где нам приходится страдать, брести во мгле, —
Чтоб привязать себя к удобренной земле.
Пусть беспросветна жизнь — свет призрачной мечты,
Прекрасное, сорвет с души покровы темноты:
Вновь вижу солнца луч, сияние луны,
Стада, в дубравах спящие средь знойной тишины,
И ласково тебе нарцисс кивнет в траве густой,
Ручей одарит хладом в полуденный зной,
В зеленой роще набредешь вдруг ты
На россыпь алию — пахучих роз кусты...
Почувствуешь тогда величие и зов судьбы,
Поймешь, что перед ней мы вовсе не рабы,
И вспомнишь сказки, песни всех былых времен, —
Ты ими очарован был, пленен...

Далее в «Эндимионе» у Пастернака обрыв, думаем, отброшены самые дорогие ему слова Китса; приведем их в нашем переводе.

Тогда ты пригубил бессмертья эликсир,
С Небес ниспосланный в давящий, тесный мир...
Нет, не на краткий миг дано все это нам,
Становятся родными, как и сам тот Божий Храм,
Деревья. Посмотри, как обняли они его, шепча!
Так свет луны, свет бледного луча,
Источник вдохновенья, наших странных грез,
Пронзает сердце лучезарной болью —
 радостью до слез...
Не важно, что над нами: непроглядность тьмы,
 Прозрачность синевы —
Прекрасное должно быть с нами, в нас,
 Иначе мы мертвы...

Как прекрасно в целом стихотворение Китса, и можно себе представить, с какой болью Пастернак оборвал его концовку...

«Предупреждение» Арсения Тарковского

А теперь сопоставим мироощущение поэта начала XIX века Дж. Китса с мироощущением поэта конца XX века А. Тарковского... Представляю его: Арсений Тарковский, тонкий знаток и собиратель богатств русского языка. Великолепная рифмовка... в мало трогающих душу стихах. И вдруг несравненное по силе удара, его потрясающее душу стихотворение

Предупреждение

Еще в скорлупе мы висим на хвощах,
 Мы — ранняя проба природы,
У нас еще кровь не красна, а в хрящах
 Шумят силурийские воды.

Еще мы в пещере костра не зажгли
 И мамонтов не рисовали,
Ни белого неба, ни черной земли
 Богами еще не назвали.

А мы уже в горле у мира стоим,
И бомбою мстим водородной
Еще не рожденным потомкам своим
За собственный грех первородный.

Так что ж, златоверхие башни смахнем,
Развеем число Галилея,
И Моцарта флейту продует огнем,
От первого тлена хмелея.

Нам снится немая, как камень, земля
И небо нагое, без птицы,
И море без рыбы и без корабля —
Сухие, пустые глазницы.

Тысячу раз был прав Афанасий Фет, когда говорил, что в немногих строках классическая поэзия высвечивает проблемы, на обоснование которых ученые тратят тысячи и тысячи страниц. И подумаем еще вот о чем: годятся ли в условиях, когда абсурден сам мир, в котором культура призвана искать **все более изощренные средства уничтожения культуры**, все наши успокоительные формулы «Культура как одоление смерти» или «Любовь и культура как одоление смерти»? Ведь в III тысячелетии поставлена на кон в безумной игре политиков и военных судьба самого homo sapiens, судьба самого человеческого рода и **всех** грядущих поколений людей! **Всех до единого!!**

Наука и искусство вносят свой посильный вклад в понимание этой всемирно-ужасающей ситуации. Но доходят ли умножающиеся предупреждения о всеобщем кризисе человеческой цивилизации до ума и сердца ныне действующих политиков и военных? Увы! Особых признаков этого не видно. И это вызывает непреходящую тревогу.

Послесловие

Несколько заключительных мыслей — сначала о современной общественной науке в России, затем о тех, кто помогал выжить науке в советское время, и, наконец, пару слов о войне, которую две страны: СССР и Германия вели в 1941—1945 годах.

Значительная часть обществоведов России отбросила прежнюю методологию (вместо ее радикального обновления), сменила проблематику, зачастую впадая в обвинительный раж против большевиков. Но и здесь она не создала ничего значительного — расстрел царской семьи Романовых большевиками и разоблачение Ленина как германского «шпиона» — «коронные» темы. Пока никем не создано ничего значительного о будущем России, на общественную науку, как представляется, наше правительство опираться не собирается, судя о полном его пренебрежении к положению обществоведов. Мешают развитию науки мизерные тиражи книг (в 30—50 раз меньшие, чем в советские времена); трудности появления книг на свет в связи с поисками финансирования научной литературы. Теперь не автору платят за книгу, а автор — за ее печатанье (бывают и исключения). Непомерны цены на книги в магазинах, а ведь далеко не все они попадают в научные библиотеки. Кое-кому удастся получить зарубежные гранты, но в большинстве случаев перед нами экспансия бывшего зарубежного «советоведения» — заказывают то, что интересует Запад, но далеко не всегда — отечественного читателя.

В целом в общественной науке царят хаос и разброд мнений. Но все же интересных книг, как отечественных, так и зарубежных, переводных, выходит немало.

Вообще различие точек зрения — явление сугубо положительное; в спорах рождается истина. Разная степень добросовестности, недоста-

точная квалифицированность авторов, «писательство» чисто политиканское — явления сугубо отрицательные, с ними придется бороться не одно десятилетие. Но альтернативы этой задаче нет.

Хочется в конце книги сказать и доброе слово о тех работниках издательств и журналов, с которыми пришлось работать в советские времена. На них была возложена в основном охранительная задача, но многие из них не просто тяготились ею, но по возможности помогали авторам преодолевать пути официальной науки. Без их помощи наука подлинная не двинулась хотя бы немного вперед. Многие прежние редакторы и теперь работают вместе с молодым поколением. И те и другие оказывают нам всемерную помощь. Очень помогла научной работе историков, философов, литературоведов открытая В.Г. Бушуевым в журнале «Свободная мысль» в 1991 году рубрика «Наследие, от которого не отказываемся»: прошлое было призвано служить настоящему.

А самое последнее слово — все же о войне, в которой я участвовал. Свою книгу к 60-летию нашей Победы над фашизмом я приурочил, моим боевым соратникам посвятил. Последние страницы отведу своим бывшим врагам, их, германских фронтовиков, немного осталось, но подрастают дети, внуки, и, может быть, до них дойдут мои слова.

Да, я был советским солдатом и кресте Митинового значка «Отличный разведчик» заработал еще пару солдатских медалей и два офицерских ордена, а не секрет, что на войне тем больше наград дают, кто больше и искуснее врага убивает. Я старался хорошо делать свое дело. Надо было изгнать вероломно напавших на родину захватчиков, грабителей, убийц и я изгонял их и убивал. Добавлю теперь, что это было обоюдное смертоубийство, счет шел на миллионы с обеих сторон...

Как-то одна из сокурсниц моих по Философскому факультету, Неля Мотрошилова, выступая по ТВ, напомнила такие строки близкого к германскому фюреру, но неплохого немецкого философа (цитирую по памяти): «Когда вы подносите к своим устам чашу, помните, что одарил вас водой ручей, бежавший по склону горы, и в бликах его струй отражалась зелень прибрежной листвы и голубизна небес...».

Я думаю и чувствую также, хотя в отличие от Хайдеггера, ни к каким вождям близок не был и не буду. Но когда я забрасывал в жерло моего миномета пудовую мину, следя за тем, чтобы она не села на предыдущую, в бронзовом отливе ее стали отражались дождливо-серое небо Витебщины, скорбь и боль матерей, получавших по почте похоронки, безмерный труд их и труд их детей на заводах, пот и кровь людей за тысячи километров подвозивших мне мины, кровь моих товарищей погибших уже в первые дни пребывания на фронте, тех соратников, которым я и потом перевязывал раны — отражалось страдание нашего

народа. А посему осуждать Митино или свое поведение на войне не хочу и не могу.

Но я, гражданин Великой России, хочу дружить с народом той Великой Германии, которая подарила мне первую любовь, а потом и свои культурные богатства — Гёте, Гейне, Шлоссера, Маркса, не говоря уже о немецкоязычном Рильке, которого люблю безмерно и порой даже перевожу — для наслаждения красотой стиха и успокоения своей души. И договоримся: похороним главную заповедь фашизма «Фюрер всегда прав» — она погубила миллионы людей с их замыслами и чувствами... Фюреры должны быть под пятой народа, а не наоборот!

Может быть, какого-нибудь читателя удивит в целом содержание моей мемуарной книжки: автор вышел целым и невредимым с фронтов Великой Отечественной войны... и начал вновь воевать на «фронте дипломатическом» в Контрольном совете, а прибыв в СССР в 1948 году — снова на каких-то «фронтах»; сначала «философском», потом «историческом». В чем тут дело? Отвечу на вопрос прямо и точно, ставя все точки над і.

На фронтах Отечественной я воевал с захватчиками, солдатами *тоталитарного гитлеровского государства* (хотя о том, что такое «тоталитаризм» тогда я не ведал). Когда я вернулся домой после Победы над агрессором, я опять-таки попал в *сталинское тоталитарное государство*, которое сломало тоталитаризм гитлеровский (в союзе с США и Англией), стало при «коллективном руководстве» автократическим, но от этого не стало лучше — его «прелести» мешали мне постигать науку и творить самому; многое из задуманного в 1960-х годах в «Новом мире» с Юрием Буртиным (цикл статей «Человечество в школе революций») было завершено лишь к годам 2000-м; задуманное с Владиславом Жановичем Келле и Юрием Мефодьевичем Бородаем так и осталось незавершенным и вряд ли будет завершено — историческая наука и у нас и за рубежом далеко ушла вперед, ее уже не догонишь.

Воевать, бороться за науку с властью предрержащими было нелегко: отнимало и время, и силы и кончалось большей частью нашим поражением (эпизоды борьбы со Щипановым, Трапезниковым—Брежневым достаточно убедительны). Но кое-что — и немалое — удалось сделать и мне с товарищами для науки и для подрыва устоев отечественного тоталитаризма. Интереснейшую тему «Трагедия русской революции» я запланировал на ближайшие годы, как и темы, разрабатываемые с В.С. Антоновым, — было бы лишь здоровье...

А теперь процитирую пару абзацев из недавно вышедшей моей книги «Политика переходного периода. Опыт Ленина» (М., 2004. С. 291, 292) — это о нашем современном положении.

«Ход истории трудно предсказуем. Кто бы мог подумать, что сталинский тоталитаризм в союзе с западной демократией ломает хребет тоталитаризму гитлеровскому, затем поспособствует своими акциями созданию некоего каутскианского «ультраимпериализма» под эгидой США, а затем рухнет при приемниках Сталина под бременем “холодной войны” и от разложения правящей бюрократии.

Куда и как пойдет далее Россия, сказать трудно. Очевидно лишь то, что на преодоление катастрофы, вызванной распадом СССР и “реформой” Ельцина—Гайдара, на преодоление всенародного разорения, губительного разрушения России уйдут целые десятилетия...».

Кстати, появление в России мафиозно-дикого капитализма напомнило нам о содержательности Марковского учения, его критического анализа. Двигаться дальше в общественной науке можно вполне и в рамках *постоянно уточняемого* временем и нами марксизма — он еще пригодится будущим поколениям. Надо только суметь отделить в нем элементы не подтвержденные прежним опытом или лозунги уже отжившие и то, что остается живым, непреходящим, способствующим поиску истины и в прошлом, и в настоящем и в будущем, созиданию «будущего мира» Рассела—Эйнштейна, Печчеи, Сахарова, Моисеева.

Мир *качественно, угрожающе* изменяется. Но люди не смогут справиться с новыми угрозами без учета *всего* многообразного и во многом трагического опыта прошлого. Без осмысления его можно сделать непоправимый шаг, толкнуть Землю людей к ядерному небытию.

Очеловечить цивилизацию, сделать человека господином собственных общественных отношений, наладить осмысленные отношения с природой — этот непреходящий, чрезвычайно трудно исполнимый завет марксизм оставил миру. Надо искать пути его исполнения — в этом ныне главная задача людей Земли. Им надо выжить и *сохранить все грядущие поколения*, справившись с ядерной угрозой, и с «четвертой мировой войной», развязанной терроризмом, научившись мирно сосуществовать — всем народам, государствам, нациям, конфессиям.

Маркс писал именно о нашем будущем, задаче всего III тысячелетия в газете «New York Daidy Tribune» 8 августа 1853 года: «Лишь после того, как великая социальная революция овладеет достижениями буржуазной эпохи, мировым рынком и современными производительными силами и подчинит их общему контролю наиболее передовых народов, — лишь тогда человеческий прогресс перестанет уподобляться тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых» (*Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 9. С. 230*).

Примечания

¹ У меня сохранились стенограммы этих избиений: Актуальные проблемы марксистско-ленинского учения об общественно-экономических формациях (4—5 мая 1973 года) и Проблемы общественно-экономической формации в свете марксистско-ленинского учения. Москва, 1976 год; любопытно, что в них нет анализа новейших книг по истории, одно только «учение Маркса» против нас использовали наши оппоненты, изрядно его извращая.

² Это был А.И. Стецкий. — *Е.П.*

³ Цит. по: Наше Отечество. Опыт политической истории. М., 1991. Т. 2. С. 345.

⁴ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 25.

⁵ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 159, 393.

⁶ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 104.

⁷ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 9.

⁸ См. об этом: *H. Wolpe. Raynal et sa machine de guerre. Stanford. California, 1957.*

⁹ См.: Вопрос всех вопросов. Борьба за мир и исторические судьбы человечества. М., 1985. С. 151.

¹⁰ Данные по статье в «Правде» и др. даны по кн.: *Некрич Александр. Отрешись от страха. Воспоминания историка. Лондон, 1979. С. 258, 255; Некрич А. 1941. 22 июня. М., 1995. С. 261, 262; Отрешившийся от страха. Памяти А. Некрича. М., 1996. С. 90.*

¹¹ См. напр.: *Галкин А.А., Котов В.Н., Меньшиков С. Капитализм сегодня. Парадоксы развития. М., 1989.*

¹² *Сахаров А.Д. Тревога и надежда. М, 1991. С. 38—39. См.: Отечественная история: опыт, проблемы, ориентиры, исследования. М., 1991. Вып. VI. С. 8, 14.*

¹³ *Шахназаров Г.Х.* Грядущий миропорядок. М., 1981. С. 396.

¹⁴ *Козн Стивен.* Провал крестового похода США и трагедия посткоммунистической России. М., 2001. С. 10, 11.

¹⁵ *Козн Стивен.* Там же. С. 20.

¹⁶ Теория и практика современной социальной политики. М., 2004. С. 151—156 и др.

¹⁷ Там же. Особенно см. главу VI «Возможные пути социального развития России». С. 150—173.

¹⁸ См.: Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры, исследования. М., 1991. Вып. VI. С. 8, 14.

¹⁹ Из трех томов «Истории философии» (М., 1939, 1940, 1944) III том был вообще изъят из обращения после Постановления ЦК от 1944 года, а два первых получили малое распространение.

²⁰ См.: *Есаков Д.Е.* К истории философской дискуссии 1947 года // Вопросы философии. 1993. № 2. С. 85—87.

²¹ *Батыгин Г.С. и Девятко И.Ф.* Дело академика Г.Ф. Александрова: эпизоды 40-х годов // Человек. 1993. № 1. С. 137—144.

²² Там же. С. 139, 141.

²³ Наше Отечество. Опыт политической истории. М., 1991. Т. 2. С. 349.

²⁴ См.: Вопросы философии. 1947. № 1. С. 35—36, 48, 100, 166, 202, 209, 350, 358, 418—419 и др. Далее указываются в тексте только страницы журнала.

²⁵ Всего в прениях записались 98 человек, из них выступили на дискуссии 48, дали приложения к стенограмме 36 человек.

²⁶ *Батыгин Г.С. и Девятко И.Ф.* Указ. соч. С. 145.

²⁷ *Есаков Д.Е.* Указ. соч. С. 91.

²⁸ См.: «Отечественная философия...». Вып. VI. С. 14—17.

²⁹ *Ойзерман Т.И.* Главные философские направления. М., 1984.

³⁰ В постперестроечные времена «первая русская нецензурная» (!) газета «Мать», издаваемая на базе еженедельника «Собеседник» (см. Приложение № 2 за 1995 год), впервые опубликовала тексты ряда писем Ленина и его пометок на полях книг А. Богданова и К. Каутского, где вождь большевизма часто демонстрировал изощреннейший матерный язык, вообще не воспроизводимый на страницах «приличных» изданий. Было ли так на самом деле — проверить невозможно, ибо авторы подборки, как и полагается *нецензурной газете*, не указали ни выходных данных, ни местонахождения книг, на которые они ссылаются, ограничившись в предисловии от редакции глухой ссылкой на «открывшиеся архивные данные».

³¹ «Наше Отечество...». Т. 2. С. 350—351.

³² Об этой ситуации см.: *Евгений Плимак*. Главная альтернатива современности // Свободная мысль, 1996, № 8.

³³ См.: *Этика Канта и современность*. Рига. С. 209—210 и др.

³⁴ См. напр.: *Моисеев Н.Н.* Русская идея // Литературная газета. 24 января 1991 года.

³⁵ См.: *Вдовина И.С.* Французский персонализм (1932—1982). М., 1990. С. 209—210 и др.

³⁶ *Фромм Э.* Иметь или быть? М., 1990. С. 209—210 и др.

³⁷ *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. Т. 33. С. 45.

³⁸ «Отечественная философия...». Вып. VI. С. 2.

³⁹ *Пастернак Б.* Собр. соч. в 5 тт. М., 1991. Т. 4. С. 632.

⁴⁰ Цит. по кн.: *Вильмонт Н.* О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М. 1989. С. 149—150.

⁴¹ *Тургенев И.С.* Соч. в 10 тт. М., 1982. Т. 10. С. 154.

⁴² *Пастернак Б.* Заметки к переводам шекспировских трагедий. Литературная Москва. М., 1989. С. 638.

⁴³ *Пастернак Б.* Доктор Живаго. М., 1989. С. 638.

⁴⁴ Русский эрос или философия любви в России. М., 1991. С. 94.

⁴⁵ *Фрейд З.* Введение в психоанализ. Лекции. М., 1991. С. 365.

⁴⁶ *Фрейд З.* Указ. соч. С. 349.

⁴⁷ См. сб.: *Structure of texts and semiotics of culture*. Mouton, 1973. P. 150 (курсив мой. — *Е.П.*).

⁴⁸ Русский эрос или философия любви в России. С. 73.

⁴⁹ *Соловьев Вл.* Неподвижно лишь солнце любви. М., 1990. С. 38, 53 (подчеркнуто и выделено мной. — *Е.П.*).

⁵⁰ *Райнер Мария Рильке.* Стихотворения (1895—1905). Харьков. Москва, 1999. С. 222.

⁵¹ *Райнер Мария Рильке.* Стихотворения. 2003. С. 181.

⁵² Зарубежная литература в переводах Б.Л. Пастернака. М., 1990. С. 546—547 (курсив мой. — *Е.П.*). В последние годы с переводами Рильке наметилось некоторое улучшение, но и сейчас публикуемые его стихи представляют смесь неплохих переводов с весьма посредственными и даже — плохими... Интерес к его творчеству огромен.

⁵³ *Пастернак Б.* Звездное небо. Стихи зарубежных поэтов. М., 1966. С. 31.

Плимак Е.Г.

П 38 **На войне и после войны (Записки ветерана).** — М.: Издательство «Весь Мир», 2005. — 200 с.

ISBN 5-7777-0325-9

Мемуары известного историка содержат откровенное повествование о фронтовой молодости, а также перипетиях неравной борьбы со сталинизмом и нсосталинизмом в советской науке в 40—80-е годы XX века, активным участником которой ему довелось быть. Многие аспекты этой борьбы освещаются впервые. В книгу вошли также яркие воспоминания автора, воевавшего в пехоте и в разведке 1-й Гв. танковой армии Катюкова. Особый интерес представляет доверительный и глубоко личный рассказ о службе в Советской военной администрации в Германии (СВАГ), об отношениях с союзниками и немцами. Составной частью книги является поэтическое эссе, отражающее многолетнее увлечение автора поэзией.

УДК 929.82-94

ББК 63

Плимак Евгений Григорьевич

На войне и после войны

Оформление обложки: *Е.А. Ильин*

Корректоры: *Е.Ю. Агарева, Е.В. Феоктистова*

Компьютерная верстка: *Е.А. Поташевская*

Подписано в печать 26.01.2005. Формат 60 x 88¹/₁₆

Печать офсетная. Печ. л. 12,5. Тираж 1000 экз.

Изд. № 25/04-и

ООО Издательство «Весь Мир»

101831 Москва-Центр, Колпачный пер., 9а

Тел.: (095) 923-68-39, 923-85-68, 925-37-70

факс (095) 925-42-69

E-mail: orders@vesmirbooks.ru;

<http://www.vesmirbooks.ru>

Отпечатано в типографии ГУ ГЦ МПП

135800, Москва, Б-140, Краснопрудный пер., д. 7

ISBN 57770325-9



97857771703255

Имя Евгения Григорьевича Плимака (1925), доктора исторических наук, автора многих книг и статей о российских и европейских революционных процессах, В.И. Ленине, политической философии не нуждается в представлении. Его новая работа написана в необычном для автора мемуарном жанре и рассказывает о фронтовой молодости и послевоенных баталиях в истории и философии. Подкупающая искренность этой книги, живое и яркое описание событий научной и общественной жизни нашей страны во второй половине XX века не могут оставить равнодушными ни представителей старшего поколения читателей, ни молодежь.

ВСЬ
МИР

На войне и после войны (Зариски истории)
Плимак Е.Г.



9 785777 703255

ID: 30886